ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕМУАРЫ

А - ШУБЕРТ

МОЯ ЖИЗНЬ

ACADEMIA


ACADEMIA

ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕМУАРЫ

**СУДЬБЫ ТЕАТРА И ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЫТ
В ОСВЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЕЙ СЦЕНЫ**

СЕРИЯ КНИГ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
П. И. НОВИЦКОГО и Евг. КУЗНЕЦОВА

VIII

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1929

А. И. ШУБЕРТ

МОЯ ЖИЗНЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ
РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
А. ДЕРМАНА

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1929

Отдельные выпуски серии
нумеруются в порядке выхода их в свет

Ленинградский Областлит № 26121. Тир. 4.100. Зак. 6167.

Гос. тип. изд. „Лен. Правда“. Ленинград, Социалистическая, 14.



Александра Ивановна
Шуберт

АРТИСТКА А. И. ШУБЕРТ И ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ

В истории русского театра артистка Александра Ивановна Шуберт (девичья фамилия—Куликова; по второму мужу фамилия ее—Яновская) не оставила сколько нибудь заметного следа. Судя по тому, что сама она о себе сообщает, причиной этого была не слабая природная одаренность,—одаренность, повидимому, была и, пожалуй, не малая,—а то, что убивает порою и сильное дарование: недостаточно серьезное отношение к искусству. Она сама сообщает, что сплошь да рядом играла в той или иной пьесе экспромтом, легкомысленно, не выучив роли, нисколько не готовясь. Недаром великий труженик сцены, М. С. Щепкин, выступает в ее воспоминаниях в качестве строгого и настойчивого учителя, подчеркивающего необходимость упорного труда для актера: очевидно ему ясно было, чего именно ей недостает. Характерно при этом, что принципиально Шуберт не оспаривает важности актерского труда и даже задним числом не прочь поставить в упрек молодому поколению артистов недостаточно серьезное отношение к делу, чем якобы не страдали артисты ее времени. Но это не более, как дань обычаю стариков ставить себя в пример молодежи, и в данном случае противоречие между словом и делом автора воспоминаний имеет лишь смысл ясного указания, что легкое

отношение к труду было у Шуберт следствием определенного склада натуры, а не того или иного взгляда на обязанности актера.

Вообще о «взглядах» и «принципах» в применении к А. И. Шуберт можно говорить лишь в некотором условном смысле. Это был, что называется, легкий человек, скользивший по поверхности жизни, без попыток углубляться в нее. Три интереснейших письма к ней Достоевского от 1860 г., недавно опубликованные в I т. писем великого писателя, редактированном А. С. Долининым, совершенно эту характеристику подтверждают. Судя по этим письмам, Шуберт очень нравилась Достоевскому, он принимал живое участие в ней и в тех невзгодах, которые ее посещали. Более того, А. С. Долинин даже полагает, что с именем Шуберт связан один «из сюжетов из личной повести Достоевского, по каким то неизвестным причинам не получивший своего дальнейшего развития». И действительно: что то похожее на влюбленность, быть может и самую мимолетную, чувствуется в этих письмах. Правда, сам Достоевский как то особенно старательно это отрицает и в одном письме с необыкновенной настойчивостью подчеркивает платонический характер своего отношения к А. И. Шуберт. «Дорогой друг, — пишет он, — я вас до того бескорыстно и чисто люблю, что страшно обрадовался, когда вы мне написали о чувстве благодарности за детей». Немного далее опять: «Как я счастлив, что Вы так благородно и нежно ко мне доверчивы; вот так друг! Я откровенно вам говорю: я вас люблю очень и горячо, до того что сам вам сказал что не влюблен в Вас, потому что дорожил вашим правильным мнением

и боже мой как горевал, когда мне показалось, что вы лишили меня вашей доверенности; винил себя. Вот мука то была! Но вашим письмом вы все рассеяли добрая моя бесконечно. Дай вам бог всякого счастья! Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в вас! Это мне дает возможность быть еще преданнее вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать, что я предан бескорыстно».

Поистине можно сказать, что Достоевский как то чересчур подчеркивает «бескорыстие» своего чувства. Так или иначе, но мужу А. И. Шуберт, С. Д. Яновскому, давнему приятелю Достоевского, отношение последнего к его жене не казалось столь платоническим, о чем сообщает в письме сам Ф. М.: «Мне кажется,—пишет Достоевский,—он тоже и ревнует немного, он может быть, думает, что я в вас влюблен. Увидя ваш портрет, у него на столе, я посмотрел на него. Потом когда я другой раз подошол к столу, и искал спичку, он, говоря со мной, вдруг перевернул ваш портрет, так чтоб я его невидал. Мне показалось это ужасно смешно, жест был сделан с досадой. Я уверен, что мне это не показалось только, а действительно так было».

Однако те же письма дают полное основание полагать, что, каков бы ни был характер отношения Достоевского к Шуберт, основная черта ее натуры,—легковесность,—была ему ясна. «Очень бы желал тоже заслужить вашу дружбу,—писал он к ней.—Вы очень добры, вы умны, душа у вас симпатичная; дружба с вами хорошее дело. Да и характер ваш обаятелен: вы артистка; вы так мило иногда смеетесь над всем прозаическим, смешным, заносчивым, глупым, что мило

становится вас слушать». Сквозь любезный и ласкающий тон этих приятных слов совершенно ясно просвечивает подлинная оценка Достоевского своей корреспондентки, как человека неглубокого и несерьезного. Едва ли и Шуберт придавала Достоевскому большее значение, чем кому либо из десятков и сотен других своих знакомых. Не даром он писал к ней: «Помните ли Александра Ивановна... как Вы вечером, у брата, за ужином сказали мне что у меня такое скучное и постное лицо? И как Вы усмехались на мое лицо тогда». Не даром также и как артистка Шуберт вызывала у Достоевского представление, характерно связанное с чем то нарочито легковесным и несерьезным. «Если б,—писал он к ней,— у меня был хоть малейший талантишка написать комедийку, хоть одноактную, я бы написал для Вас. Хочу попробовать. Если удастся (решат другие) то поднесу ее Вам в знак моего глубочайшего уважения».

Ясно, что судьба наделила А. И. Шуберт, повидимому, и талантом, и каким то личным обаянием; она сталкивала артистку с крупными и даже крупнейшими людьми ее эпохи, она кидала ее в водоворот жизни, ставила близкой свидетельницей великих событий. И нельзя сказать, чтобы все это проходило для Шуберт совершенно бесследно и незаметно: она была достаточно наблюдательна и любопытна, чтобы воспринимать впечатления, даже искать их, но они неизменно получают в ее голове какое то легкое, даже легкомысленное отражение. Ей словно все равно, беседует ли с нею мелкий провинциальный карьерист или Некрасов, знакомая барыня или Достоевский. Более того, когда речь идет даже о собственной ее семье, она остается тем же

«легким» человеком, не принимающим ничего особенно близко к сердцу.

Наиболее выразителен в этом отношении один эпизод с сыном Шуберт, о котором она сообщает эпическим тоном, граничащим с моральным цинизмом. Сын ее провалился на экзаменах. Мать отсылает его к своей сестре, с которою, между прочим, сама в ссоре. Мальчик не поладил с теткой и возвращается к матери «со слезами и раскаянием». «Но я ему сказала,—пишет Шуберт,—что уже ничего не могу сделать для него; он может итти на все четыре стороны и избирать себе род жизни, а я дармоедов содержать не намерена. Он переехал к одному из своих товарищей, который принял в нем участие, взялся приготовить его в гимназию, что и выполнил». Сообщив это, Шуберт добавляет: «Имя этого доброго человека Петр Петрович Зилов». Эта похвала чужому человеку, сделавшему для мальчика то, в чем отказала ему мать, звучит особенно великолепно!

Единственное лицо, воспоминание о котором под пером Шуберт начинает звучать какими то новыми, глубокими и сердечными оттенками,—это М. С. Щепкин. След, оставленный им в душе автора воспоминаний, резко отличается от тех беглых и легких отражений, какие характерны для всей ее книги. Но таково уж свойство великого творца реалистического русского театра, что перед ним все люди, и большие и малые, раскрывали лучшее, что в них было.

Если говорить о среде, которая окружала Шуберт, то придется провести резкую разграничительную черту между теми, с кем она «встречалась», и теми, кто дей-

ствительно сопутствовал ей в жизни. В этом смысле судьба не была милостива к Шуберт. В числе ее знакомых было множество людей значительных, крупных и ярких; но, повторяю, с ними (исключая Щепкина и щепкинской семьи) она общалась более или менее поверхностно. Те же, с кем жизнь сводила ее близко, в большинстве были как раз ей по плечу.

С детских лет она вертелась если не в передней барских домов, то где то между передней и гостиной, в качестве маленькой приживалки и забавы барских детей. Потом в чудовищной атмосфере театральной школы с беспрестанным битьем, с тайными свидааниями, с услугами при старших воспитанницах, с лганьем и обманами. Потом пансионы, где было немногим лучше. Потом мелкий закулисный театральный мир. Потом, уже в качестве замужней женщины, опять приживалкой в доме зятя — тупого самодура. Затем — вторичный брак с черствым и ограниченным чиновником, запрещающим ее детям от первого мужа получать за столом сладкое блюдо, так как отец их был мещанин, а мещанам «полагается» обед лишь из двух блюд. Далее кочевание по провинциальным городам и игра в случайно сколоченных труппах, с их интригами, сплетнями и глубокой пошлостью, с заискиванием перед провинциальными аристократами и толстосумами... Игра в руссификаторском театре в Вильне... И т. д., и т. д.

И посильнее морально человек, чем А. И. Шуберт, не уберегся бы от влияний такого рода среды, но для нее эти влияния были особенно ядовиты. И мы видим, что в раннем детстве ее протесты против уродливых явлений жизни были порою гораздо резче и опреде-

леннее, чем впоследствии. Когда ей, восьмилетней девочке, игравшей совместно с княжеской внучкой и чувствовавшей себя свободно в княжеском доме, вдруг указали, что место ее не в гостиной, а с дворовыми в девичьей, то реакция ее на это была резкой, живой, страстной: она наотрез отказалась от дальнейших посещений княжеского дома (как не вспомнить тут об аналогичных эпизодах из биографии М. С. Щепкина, все детство которого было наполнено такими же ударами по самолюбию!). Впоследствии она уже либо не протестовала, либо весьма слабо протестовала против тех несправедливостей, жертвой которых она являлась или которые происходили у нее на глазах: она со многим примирилась. И в этом отношении характерны те строки, где Шуберт резюмирует свой взгляд на взяточничество: «впоследствии я не смела бросить камня в лихоимцев, я поняла, что значит быть обремененной семьей. Чтобы быть честным гражданином, надо много храбрости».

Читая это, ясно видишь, что здесь высказался не столько взгляд Шуберт, сколько взгляд среды, дух того времени. И это же самое мысленно говоришь себе, когда читаешь страницу за страницей об отношении автора мемуаров к инородцам, к царям, к тогдашнему воспитанию,—психологией крепостничества, с его делением людей на высший и низший сорт, проникнуты взгляды на эти вопросы автора мемуаров.

Если прибавить сюда поразительную политическую наивность А. И. Шуберт, нашедшую себе выражение в таких, например, поступках, как совет, преподанный ею петербургским чиновникам 50-х годов, пригласить

на государственную службу Бакунина, Огарева и Герцена, то невольно возникает вопрос,—какой интерес могут иметь для современного читателя воспоминания заурядной артистки прошлого века, мало образованной, а в политических и общественных вопросах и прямо невежественной?

На этот вопрос дает ответ мемуарная литература. В ней, на ряду с воспоминаниями людей, игравших более или менее видную роль в жизни, не редкость встретить и воспоминания людей заурядных, порою совершенно безвестных, ничем не выдававшихся и тем не менее запечатлевших для потомства факты и события первостепенного интереса. Достаточно в этом смысле указать на мемуары Вигеля. Это фигура в иных отношениях прямо низменная и ни в одном отношении, кроме разве порочности, не выдающаяся,—но воспоминания его являются поистине драгоценным памятником эпохи, богатейшим источником для ее понимания и изучения. Того же порядка и воспоминания Сушковой и многие другие.

Порой заурядность автора мемуаров является даже своего рода плюсом: воспоминания такого рядового человека, если только он одарен наблюдательностью, предстают пред потомками его в виде какого то законсервированного осколка подлинной жизни отошедшей эпохи во всей ее неприкосновенности и неприкрашенности. Выдающийся человек—это всегда человек, находящийся в том или ином отношении впереди своего времени. Рядовой человек идет по жизненному пути в ногу «со всеми», видит жизнь, как «все» ее видят в его время, и он свидетельствует о своем времени

не столько своими оценками и суждениями, сколько самой своей фигурой, ее стилем.

Именно таковы и мемуары А. И. Шуберт: самая примитивность ее взглядов, ее политическая наивность, отголоски ее симпатий и антипатий, форма ее протестов,—все это необычайно характерно для ее эпохи, для ее окружения. Она очень многое видела на своем веку, у нее была жадная к жизни натура—и виденное, не мудрствуя лукаво, она, как умела, записала, и теперь со страниц ее книги на нас глядит сама Николаевская Россия, с этими крепостными, наклоняющимися пред низкорослым барином, чтобы последнему было удобнее давать им пощечины; с великолепным Николаем I, покровительствующим балетным ученицам, но для которого, из соображений благопристойности, исключают из классических пьес слишком резкие места; с этими шефами жандармов, составляющими себе гаремы из театральных учениц; с этими гвардейцами, дежурящими под окнами закрытых учебных заведений. Без прикрас, и потому во всей своей наготе, встает пред читателем весь этот характерный облик глубочайшего разврата и звериной жестокости под оболочкой учтивости и лицемерного ханжества.

И еще одно обстоятельство. Если против порядков николаевщины мы читаем гневные протесты Герцена или скованные цензурою сарказмы Лермонтова, Белинского,—то ведь это протесты людей, высоко поднявшихся над своей эпохой. Когда же эту эпоху судит и невольно осуждает и такой свидетель, как А. И. Шуберт,—рядовой человек своего времени, несвободный в свою очередь от его пороков и грехов,

то этот протест приобретает свой особенный оттенок, с известной точки зрения не менее поучительный и выразительный: что же это была за жизнь, если и такой нетребовательный человек не находит для нее ничего, кроме осуждения!

Воспоминания А. И. Шуберт печатались в 1911 и 1912 гг. приложением в Ежегоднике Импер. Театров в Петербурге. Этот же текст, без всяких изменений, кроме года на выходном листе (измененного на 1913-й), был затем выпущен в виде отдельной книги, которая, судя по отсутствию на ней цены, в продажу, повидимому, не поступала.

Книге предпослано краткое предисловие, принадлежащее перу дочери А. И. Шуберт, З. С. Яновской, из которого мы узнаем про жизненную и посмертную судьбу труда ее матери, скончавшейся на 81-м году жизни, 11-го января 1909 года.

Судьба эта в главных чертах такова. Отрывок мемуаров, касающийся М. С. Щепкина, был напечатан в 1888 г. в «Русской Старине». Затем, в 1898 г., когда А. И. Шуберт жила в Крыму в доме С. Я. Елпатьевского, часть ее мемуаров, в обработке С. Я., была напечатана в севастопольской газете «Крымский Вестник».

После смерти А. И. Шуберт дочь ее обратилась с просьбой проредактировать рукопись записок к писателю Н. И. Тимковскому, который, за недосугом, поручил эту работу своей жене, Е. Н. Тимковской, оставив за собою труд последующего просмотра проредактированной рукописи.

Таким образом на работе А. И. Шуберт получилось несколько редакторских наслоений. Разобраться в них оказалось очень не легко, несмотря на то, что в распоряжении автора этих строк находилась рукопись А. И. Шуберт.

Дело в том, что рукопись эта не является чем либо цельным и последовательным. В моем распоряжении было собственно две рукописи: более пространная, но необработанная, и обработанная, но далеко не полная. Ни одну из них я не мог принять за точную, подлинную рукопись автора, являющуюся последним результатом его труда. Если бы дело сводилось только к тому, что рукопись (или рукописи) были бы полнее печатного текста, то это можно было бы объяснить тем, что редактор при печатании сделал ту или иную купюру. Но при сличении печатного и рукописного текста оказалось, что в иных случаях в первом, т. е. в печатном, есть и то, что отсутствует в обеих рукописях, а это обстоятельство уже не может быть объяснено работой редактора.

Оставалось заключить, что в распоряжении редакторов были еще какие либо фрагменты труда А. И. Шуберт, в настоящее время утраченные. Таким образом у редактора предлагаемого издания бесспорного текста в руках не было. При таких обстоятельствах задача полного восстановления авторского текста становилась неразрешимой, а редакторская работа— трудной и ответственной, потому что по необходимости она толкала в сферу произвола.

Редактор ограничил его тем, что в ряде мест восстановил, по рукописям, купюры, в иных случаях осо-

бенно нежелательные (например, характерные детали о предсмертной поездке в Крым М. С. Щепкина, о некоторых эпизодах семейной жизни А. И. Шуберт, о годах ее пребывания в театральной школе, о знаменитом Солодовникове и т. д.). Затем исправлены кое где явные искажения первоначального текста и, наконец, обычные ошибки, проще всего объясняемые тем, что у А. И. Шуберт был довольно неразборчивый почерк.

Текст снабжен краткими примечаниями, по большей части касающимися лиц, упоминаемых в записках. При этом без примечаний оставлялись, с одной стороны, имена общеизвестные (Пушкин, Тургенев, Достоевский, Николай I, и т. д.), с другой—слишком малоизвестные. Примечания, принадлежащие дочери А. И. Шуберт и вошедшие в печатный текст, равно как и примечания автора записок, специально оговорены, остальные принадлежат редактору настоящего издания.

Этот краткий очерк я должен заключить выражением глубокой благодарности Алексею Александровичу Бахрушину, помогавшему мне своими добрыми советами и предоставившему возможность работать над рукописями А. И. Шуберт, хранящимися в Государственном Театральном музее его имени, а также С. Г. Кара-Мурзе, с дружеской готовностью делившемуся со мною своими обширными познаниями в области истории русского театра, и В. С. Нечаевой.

А. Дерман

Москва, 1928 г.

А. И. ШУБЕРТ.

МОЯ ЖИЗНЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отец и мать. — Семейный быт. — Жизнь в доме кн. Е. С. Вяземской. — Московская театральная школа 1830-х годов.—Брат П. И. Куликов.—Рассказы о Малом театре того времени. — Актер П. В. Орлов-Дворянин.— Женитьба его на сестре П. И. Куликовой. — Жизнь у Орловых.

Родилась я в 1827 году 14-го марта. Родители мои были из дворовых: отец был крепостной П. А. Анненковой, мать, кажется, князя Вяземского из Полтавской губернии. По их рассказам помню, что П. А. Анненкова была барыня добрая и написала отпускную моему отцу, которою он мог воспользоваться после ее смерти. Сын ее, после смерти матери своей, найдя в бумагах отпускную, бросил ее в огонь. Отец мой, присутствовавший при этом, успел вытащить ее из камина, хоть и обгорелую. После воли отец мой жил в должности дворецкого у княгини Е. С. Вяземской и в то же время управлял имениями своего бывшего барина. Сам И. П. Анненков жил постоянно в деревне и, когда приезжал в Москву, останавливался у нас. Барин этот был вспыльчивый и жестокий. И вот почему он мне памятен. Однажды я вошла к нам в квартиру и мне представилась следующая

сцена. Анненков, маленького роста, резким голосом кричал на стоявшего перед ним высокого лакея: «Нагнись, подлец! Нагнись!». И тот покорно нагибал свою голову, а барин отвешивал ему полновесные пощечины. К счастью его семьи и подчиненных, он скоро умер.

Отец мой был честнейший, добрейший человек. Не могу не передать благородного поступка его, о котором я после узнала от моего старшего брата. Анненков, женатый на Амбразанцевой, дурно жил с женой, был очень скуп, таил от семьи свои богатства и, повидимому, доверял больше моему отцу. Он отдал ему на хранение дубовый сундук, не сказав, что в нем. После смерти Анненкова отец отнес сундучек его семье, которая и не подозревала о существовании сундучка. В нем оказались бриллиантовые вещи. Их взяли, а сундучек отдали моему отцу, как ненужную вещь. Долго он у нас стоял без всякого употребления; но однажды он зачем то понадобился отцу и, уж не знаю как, отец заметил, что сундучек имеет двойное дно. Разломав, он увидел, что все углубление наполнено необделанными бриллиантами. Конечно, он все отнес семье Анненкова. Этот поступок очень возвысил моего отца в общем мнении. Я помню, все господа уважали его и обращались с ним очень вежливо, на «вы», называя его не иначе, как Иваном Григорьевичем.

Был мой папенька превеселого характера. Очень любил кушать пиво, но не без меры,

а так, бывал навеселе. В это время всегда говорил о Суворове: это был его любимый герой. «Мы с Суворовым когда воевали»... или «когда мы с Суворовым Альпы переходили»... или бывало скажет по какому нибудь случаю: «Позовите нас с Суворовым, мы устроим порядки». Ничего в жизни с ним этого не бывало, конечно.

На указательном пальце он носил перстень с изображением Суворова; так и нарисован на портрете, который находится у меня.

Это его любимое хвастовство очень сердило матушку, которая была у нас большая ворчунья. Не знаю, за что они ссорились, т. е. не ссорились, а матушка все ворчала.

Почти каждое утро, бывало, она точит его. Он ходит по комнате, молчит, потом молитвы поет, а то плюнет, возьмет шляпу и уйдет.

— Мы с Суворовым, мы с Суворовым,—скажет матушка,—забыл, что ты—мещанин.

— Врешь,—ответит отец,—я не мещанин, а российский гражданин.—Мне всегда его почему то жалко было, и я внутренно осуждала мать. Теперь думаю, немудрено, что характер ее сделался резок. Нас было двенадцать человек детей. Она всех нас кормила, хлопот было не мало, а достатки были невелики.

Кроме квартиры отец получал маленькое жалование. Подрабатывал он еще тем, что служил за парадными столами, куда его охотно приглашали, как опытного распорядителя.

В бытность императора Николая Павловича и императрицы в Москве они обедали у Д. В. Голицына [1]).

Отца пригласили служить и он стоял за стулом императрицы. Она обернулась к нему и что то сказала.

Он обомлел: ему послышалось «пиво», но он не поверил своим ушам; когда же ему повторили, пришел в восторг, что матушка-царица тоже кушает его любимый напиток.

Он любил ходить в Марьину рощу пиво пить (это было самое популярное гулянье того времени). Отец всегда просил, чтобы его похоронили на Лазаревском кладбище, как можно ближе к Марьиной роще, чтобы он мог слышать пение цыган.

Сестра в точности исполнила его просьбу, хотя наша бабушка, братья и сестры похоронены около церкви.

Из младенческих воспоминаний скажу о моем религиозном воспитании. Родители мои были набожны, обряды исполняли строго. По средам и пятницам ели постное, помимо других постов. Маменька любила в 12 часов пить кофе,— в то время дорогой напиток. Случалось, забывшись, в среду или в пятницу, выпьет кофе со сливками, а потом целый день отплевывается и крестится. Конечно, и я ела постное.

Не могу умолчать об одном факте, как путают наш ум ненужными впечатлениями. Однажды

[1]) Кн. Дмитрий Владимирович Голицын, с 1820 г. московский генерал-губернатор.

в великую пятницу мать готовила пасху и отлучилась из горницы. Я вошла и, видя, что никого нет, схватила кусочек творогу. В эту минуту вошла мать и застала меня на месте преступления. Обыкновенно за всякие шалости расправа была короткая: или пощечина, или за волосы, за ухо или подзатыльник. Проглотишь и пойдешь, как ни в чем не бывало, и за обиду не считалось: всех били, без битья обойтись было нельзя.

В настоящем же случае мать ахнула, как будто сама испугалась, только сказала: «Ах, какой грех! Посмотри, у тебя на лбу слова вышли: «Оскоромилась в великую пятницу». И пальцем меня не тронула. Так у меня сердце и упало. Кто ни придет из знакомых, все читают у меня на лбу эти страшные слова. Возложили на меня покаяние: по утрам и вечерам класть земные поклоны. Сколько и долго ли это продолжалось, не помню, но все мне передавали, что слова постепенно тускнеют и, наконец, что они совсем исчезли.

Утром и вечером читали «Отче» и «Богородицу» и много слез пролила я над «Верую»: очень она мне длинна казалась и долго не укладывалась в голове. С бабушкой, нашей общей любимицей и баловницей, ходила в церковь каждый праздник, но больше бегала по церкви или на паперти играла с ребятишками.

Маменька в церковь ходила аккуратно. Я замечала: вернется она из церкви и новостей

принесет пропасть: кто был, что у кого случилось, какие слухи ходят по Москве. Церковь была в своем роде клубом, и, чтобы не было однообразия, часто обсуждали, в какую нынче церковь отправиться. Ходили в Петровский монастырь, потом в Рождественский. Маменька любила становиться к стенке. Как то она приходит от всенощной возмущенная. «Никогда больше не пойду в Рождественский! Станешь на место,—подходит послушница: «Здесь мать Агния стоит». Перехожу на другое: «Здесь мать Зиновея». Дальше иду. Тут такая то, тут разъэтакая, а тут распроэтакая. Надоели до смерти».

Резко, но тогда не очень то выражения выбирали.

Помню, как я была огорчена, когда на 7-м или 8-м году моего возраста мне объявили, что я должна итти к исповеди и только тогда получу причастие: священника я боялась. Кругом говорили всякий вздор: «у кого грехов много, поп волен наказать, как хочет, заставит себя по церкви возить в тележке». Подробностей первой исповеди не помню, но помню, как священник все время смеялся.

На вопрос, что значит: «чаю воскресения мертвых»? я ответила: «в воскресенье до обедни чаю пить не следует», руководствуясь тем, что бабушка до обедни чаю не пила.

Еще помню рассказ. Брали сестру из школы в отпуск, она была болезненная, очень золотушная. Мы лето жили для ее лечения в деревне

моей крестной, Елизаветы Аркадьевны Верещагиной. До лечения или после сестра с матушкой ездили говеть в Серг.-Троиц. лавру. Во время молитвы «Верую, господи» и исповеди священник, читающий ее наизусть, так загляделся на мою молоденькую сестру, что забыл слова молитвы, остановился и потребовал книгу. Ужасно противоречили сами себе. Филарета [1]) считали чуть не святым, а анекдоты рассказывали про него далеко не святые. Говорили, что пред богом все люди равны, а мне доставалось, что я любила играть с маленькой дочерью обручника, а не с барскими детьми. Много у меня было пререканий с матушкой. Она меня не любила и считала отчаянной. Сама она была строгая, чинная, любила генералов и сановных людей. С удовольствием вспоминала старые времена и крепостное право. Часто говорила, что за помещиками хорошо жилось на всем готовом, а нужду узнали, как на волю вышли.

Когда воцарился Александр II, во всем находила беспорядок, все новое осуждала. Слухи о готовившемся освобождении крестьян сильно ее возмущали: «это что же такое будет? Нынче помещиков не признают, а завтра и бога признавать не будут». «Вон пожары пошли, про

[1]) Митрополит московский (в мире—Дроздов, род. в 1783 г., ум. в 1867 г.), пользовавшийся огромным влиянием не только в церковных, но и в государственных делах, между прочим автор манифеста об освобождении крестьян. Написал ответ на стихотворение Пушкина „Дар напрасный, дар случайный“,—„Не случайно, не напрасно“, на которое Пушкин в свою очередь отозвался стихотворением „В часы забав иль праздной скуки“.

неурожай пишут. При покойном Николае Павловиче этого не было».

Помнить себя я начала на шестом году, а может и раньше, в доме княгини Вяземской на Петровском бульваре (ныне Катуар), где отец, как сказано выше, служил дворецким, управляя в то же время имениями малолетней Анненковой, оставшейся круглой сиротой и воспитанной бабушкой, Марьей Ивановной Амбразанцевой.

Мы имели у княгини хорошую квартиру в левом флигеле, в три комнаты, которых было вполне достаточно для нашей семьи, состоявшей тогда из отца с матушкой и нас, троих детей. У княгини всем жилось хорошо. Дом был богатый, дворня большая, проживали на покое старушки, бывшие служанки княгини и ее родителей. Обращались со всеми хорошо, деликатно, звали по имени и отчеству, а молодых—Сонюшка, Танюшка и т. д. Ничего тут крепостного не было.

Семейство княгини состояло из двух сыновей и дочери. Старший, Александр Сергеевич, женат был на Корсаковой, потом овдовел и женился на баронессе Боде. Второй, Николай, был женат на Небольсиной. Дочь, Варвара Серг., вышла за Ив. Ив. Ершова.

Княгиня любила пускать к себе странников и странниц и для них был отведен особый флигель. Отец часто спорил из за них с княгиней, так как среди них бывали нередко беспаспортные.

Однажды вечером у нас пило чай общество странников. Одна монахиня, необыкновенно высокого роста, с подвязанными зубами, очень громко разговаривала; потом вдруг вскочила, упала перед образом на колени, подняла руки кверху и, как исступленная, что то завопила. Я закричала, разревелась, меня унесли и насилу уняли. На другой день говорили, что это был переодетый мужчина.

Несчастия никакого не произошло, но с тех пор бродячий люд почему то больше не пускали. К этому же времени относятся мои воспоминания о московских пожарах. Была страшная засуха, со всех сторон неслись клубы дыма. Говорили о поджигателях-поляках, об их подметных письмах и на ночь ставили повсюду караульщиков. Отец страшно волновался; он был не из храбрых.

Смутно помню повторявшийся в те времена рассказ о том, как приезжал какой то князь Трубецкой и останавливался у княгини Вяземской в ее отсутствии: летом она живала в деревне. Отец слышал какой то разговор, повидимому, о заговоре, и со слезами умолял князя выехать из дому и не губить его с семьей. Не имеет ли это отношения к 14-му декабря? [1]).

Глава семьи, сам князь Сергей Сергеевич, жил отдельно в нижнем этаже, наверх выходил только

[1]) Конечно, не имеет: А. И. Шуберт родилась после восстания декабристов. Кн. С. П. Трубецкой, т. н. „диктатор“, декабрист, оставался в Сибири во все время царствования Николая I.

в экстренных случаях и роли никакой в семье не играл. Что он был за человек—не знаю, но кругом говорили, что княжне трудно найти хорошего жениха,—«кто захочет родниться с таким беспутным отцом»?

Я постоянно бывала наверху «в комнатах», княгиня меня очень любила, и я была ее фавориткой. Меня баловали и позволяли при ком бы то ни было бегать и играть по всем комнатам, болтать, не стесняясь, всякий вздор, и прощали то, за что другим доставалось. Помню историю с митрополитом Филаретом.

Преосвященный Филарет считался в Москве чуть не святым человеком, хотя и рассказывали про него далеко не святые истории. Он часто посещал княгиню и очень любил кушать у нее грибной суп: по его словам, никто так не умел его готовить, как княгинин повар Сергей. (Маменька узнала по секрету, что он заправляет суп скоромным маслом.)

Кругом говорили, что барыни одолевают преосвященного со всякими пустяками, покою не дают. Княгиня, когда наступило совершеннолетие княжны, ее дочери, спрашивала: «можно ли ездить в театр?» Он разрешил, сказав: «если вы готовите вашу дочь в монастырь, то нельзя, а если в свет, то можно, но, конечно, с выбором зрелищ».

Однажды митрополит приехал к княгине. Вероятно, это было заранее известно, потому что вся прислуга встретила его на крыльце. Я была

с маменькой тут же. Он благословил всех нас и отправился наверх.

Должно быть, мне не велели туда итти, потому что я помню, что я словно ворвалась в гостиную. Отец, прислуживавший за завтраком, замахал на меня руками, а княгиня закричала: «Ступай, ступай отсюда».

— Не гоните, княгиня,—проговорил Филарет, подозвал меня и благословил.

Дал мне белого хлеба с сыром, и я вышла героиней; все удивлялись моей смелости и его благодушию.

Я была очень самолюбива, да и мне ли было не зазнаться! Не помню, кто втолковал мне, что я невеста наследника Александра Николаевича; я поверила и очень этим возгордилась. Однажды отец мне купил теплые валеные сапоги и сказал, что их прислал наследник. Я так дорожила ими, что не позволяла оставлять в прихожей, а вносила в парадные комнаты и ставила на окно.

Должно быть, господам я казалась очень забавна, и они заставляли меня говорить всякие нелепости.

— Когда я буду царицей,—болтала я как то,— я возьму княгиню к себе в статс-дамы, а княжну во фрейлины.

Тут случился старый князь, которого я не любила—он был всегда такой грубый.

— А меня, Сашка, возьмешь?—закричал он.

— Конечно, возьму, только в кучера.

Общий восторг и хохот.

Княгиня летом жила в деревне Воробьеве и два лета я гостила у нее, но тут мне было скучно, с дворовыми играть запрещалось, я была только с княжной, уже взрослой девицей; весело только было, когда приедет баронесса Боде с многочисленным семейством. Княгиня начала учить меня по французски, но я была очень ленива и с нетерпением ждала возвращения домой. Потом попала я к англичанке Дункен; где и как познакомилась она с моими родными [не знаю], но матушка готова была отдать куда бы то ни было, лишь бы меня учили. Платить она не имела средств.

Старушка Дункен была предобрая, обращалась со мной хорошо, сама занималась, иногда ей помогали ее племянница и воспитанница. Но учиться для меня была каторга. Басни Крылова я очень любила, много знала наизусть и хорошо передавала, но грамматика и катехизис были наказание божеское, кроме св. истории: она мне нравилась и занимала меня.

У Дункен я жила до выхода из школы брата и сестры.

Жестоко поплатилась я потом за свое привилегированное положение и последовавший удар моему самолюбию и посейчас забыть не могу. Мне было лет 7—8. Хотя мы и уехали от княгини, но я продолжала ходить к ней в дом, так как со мной очень любила играть ее внучка Ольга (дочь старшего сына княгини). В тот день, как княжна Варвара Сергеевна была объявлена

невестой, меня приодели и я была у Ольги. Когда стали съезжаться гости, англичанка понесла Ольгу в гостиную и я отправилась за ней. На дороге встретилась княгиня и сказала, что мне нельзя итти в гостиную. «Почему?» —спросила я.—«Потому что твое место в девичьей».— Меня как громом поразили эти слова. Тут только поняла, что они—баре, а я не баря, и с тех пор к ним ни ногой, как ни звали, как ни зазывали. Маленькая Ольга очень привязалась ко мне и все просила меня привести, но я так и уперлась и больше к ним не ходила. Даже когда моя крестная мать, Лизавета Аркадьевна Верещагина, увозила меня к себе, ласкала и сажала с собой за стол, я все больше придерживалась девичьей, все чувствовала недоверие и боялась, что мне опять скажут: «твое место в девичьей».

Так кончилось мое барское житье, и я перешла в свое общество.

Наезжали к моему отцу нередко мужики из имения Анненковой, которым отец продолжал управлять. С крестьянами папенька был очень хорош, а с одним из них, Семеном Федоровым из Хрипани, он поменялся крестами, и называли они друг друга братьями, так как в 1812 г. этот Семен Федоров спас нашу семью из Москвы от французов и приютил у себя в Хрипани. Мужики привозили отцу оброк в кожаных мешечках серебром и золотом; ассигнаций в то время было мало.

Когда расчет кончался, папенька шел с мужиками в полпивную в «Волчьей долине», недалеко от нас.

Волчьей долиной называлось то место, где теперь Эрмитаж и начало Цветного бульвара. Тогда там был густой бульварчик, где ютились воры, почему впоследствии бульварчик был вырублен.

Должно быть в полпивной общество собиралось не очень фешенебельное. Однажды отец рассказывал там, как у его дочери, моей сестры, украли подушку из экипажа. Тогда кто то из публики обратился к отцу, которого все знали.

— И что это ты, батюшка, Иван Григорьевич, раньше то не сказал: мы бы тебе подушечку то воротили.

Мужики, которыми он управлял, очень его любили, и когда в 48 г. он скончался от горловой чахотки, так много собралось народу проводить его гроб, такой был плач и вой, что проходящие думали, что хоронят какого нибудь богатого помещика.

Впрочем, мужики появлялись только время от времени, а постоянное общество, окружавшее мое семейство, состояло из крепостной аристократии: дворецких, камердинеров и артистов, которые тогда все были из крепостных, купленных казною у разных господ, или из вольноотпущенных. За исключением Прова Садовского, вышедшего из купцов, Орлова, дворя-

нина, пожалуй Шумского (Чеснокова) [1]) (впрочем, отец его торговал старым платьем и, вероятно, тоже происходил из крепостных), быть может, еще двух-трех,—почти все, составившие гордость русского драматического театра, оперы и музыки, были из крепостных. У нас часто бывала жена кучера, не помню, какого барина, дочь которой сделалась потом знаменитой актрисой Репиной (впоследствии жена Верстовского) [2]). Бывали и другие, прикосновенные к театру лица. Когда старший брат [3]) достиг учебного возраста, отец отдал его в уездное училище, а потом думал отдать в мастерство. В то время бывшие у нас театральные люди посоветовали родителям отдать его в только что открывшуюся на казенные средства театральную школу. Туда и поступили сперва брат, потом сестра. Школа помещалась на Поварской, в доме Балашова, потом ее перевели на Большую Дмитровку, где теперь контора. Эту школу я хорошо помню, так как часто гащивала там у сестры. Все, получившие воспитание в московской школе того времени, вышли полезные для театра люди, и деньги, затраченные на них казной, дали хо-

[1]) Садовский Пров Михайлович (1818—1872), известный артист. Фамилия его отца была Ермилов, фамилию Садовский принял от своих дядей, провинциальных актеров.—Орлов, муж сестры автора настоящих воспоминаний, о нем см. далее.- Шумский (настоящая фамилия—Чесноков) Сергей Васильевич, известный артист (1821—1878), был из мещан.

[2]) Репина Надежда Васильевна (1809—1867); Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862), известный композитор, автор оперы „Аскольдова могила“.

[3]) Куликов Николай Иванович (1815—1891), актер и драматург.

рошие процепты. Не знаю, как преподавали науки, но помню, что брат, сестра и их товарищи с благодарностью вспоминали М. М. Карниолина-Пинского и Н. И. Надеждина [1]). В школе, кроме танцев, декламации, каждый обязательно должен был учиться музыке на каком нибудь инструменте.

Брата начали учить на флейте, но у него оказалась слабая грудь, и его посадили за виолончель. Если бы он не был актером и не сделался впоследствии режиссером, он мог бы занять видное место в оркестре. Воспитанники и воспитанницы должны были участвовать во всевозможных представлениях. Подразделения на драматических, оперных и балетных не было: все должны были ко всему приучаться. Кроме того, мальчиков учили рисовать декорации, а девочки, особенно некрасивые и малоспособные, вышивали золотом костюмы, тогда еще машинных украшений не было. Даже талантливые артисты исполняли роли не своего амплуа. Я помню балет «Фенеллу», поставленный в бенефис танцовщицы Гюленьсор, где рыбаков представляли: Орлов, Никифоров, Потанчиков, Степановы Петр и Василий [2]) и др. Участвовали ли они во всем балете, не помню, но в сцене вос-

[1]) Надеждин Николай Иванович (1804—1856), известный ученый, критик и профессор.

[2]) Никифоров Николай Матвеевич (1796—1880), известный московский актер-комик. — Потанчиков Федор Семенович (ум. в 1871 г.), московский актер.—Степановы Петр и Василий Гавриловичи, артисты, играли на столичных сценах в первой половине XIX в.

стания и сражения они фигурировали на первом плане.

Фехтование обязательно входило в программу учения. Моя сестра и Репина, хоть и были драматические, но играли также и в операх. П. С. Мочалов [1]) играл в опере «Русалка» роль Виндостане, только без пения. Театр и школа процветали до тех пор, пока не соединились с петербургской дирекцией. Впрочем, об этом в свое время.

Московский театр 30-х годов находился под управлением М. Н. Загоскина [2]), репертуаром заведывал Верстовский, а конторой—Васильцовский. Контора помещалась в здании Большого театра и чиновников было очень мало. Артистов переименовывать нечего: их имена увековечены в истории театра, а я тогда не могла ценить их талантов.

В моих детских воспоминаниях осталось только, что Репина управляла театром, притесняла тех, кто с талантом, и моя сестра своим положением на сцене была обязана мужу, который умел ее поставить на первый план и не давал ее в обиду. Таланта большого у нее не было. Она была холодна, но умна и красива. Мочалов любил играть с ней: она ему помогала своей сдержанной игрой, а с Репиной ему было неловко, по-

[1]) Мочалов Павел Степанович (1800—1848), знаменитый трагический актер.

[2]) Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), известный писатель, автор „Юрия Милославского“ и др. С 1831 г. состоял директором московских театров.

тому что она была тоже горячка и играла по вдохновению, как и сам Мочалов. Сестру выдвинула роль Офелии и особенно прекрасная песнь Варламова [1]). Я помню, как он ездил учить ее. Репина отказалась от роли Офелии, потому что не нашла в ней ничего эффектного. После рассказывали, что она рвала и метала, что упустила такую роль. Вращаясь постоянно в актерской среде, я много тогда слышала рассказов о начальстве и театральных порядках.

Хвалили бывшего директора Кокошкина [2]) за то, что он любил и понимал театр, сам проходил роли с актерами, приглашал к себе на обеды, чтобы приучить к обществу и хорошим манерам. Про князя Шаховского [3]) рассказывали, как он учил и выучивал актеров, несмотря на то, что страшно шепелявил. Обращался с актерами без церемонии, даже с примадоннами.

— Ты, матушка, длянь, ты тляпка!

Раз на репетиции что то не ладилось на сцене. Он подскочил к лампе и закричал:

— Как ты светись! Кому ты светись!

Какой то актер не мог прочитать монолога, как он хотел. Князь, маленький, толстенький, бух в ноги:

[1]) Варламов Александр Егорович (1801—1851), известный автор популярных романсов и песен; среди последних пользовалась большим успехом написанная для „Гамлета“ песня Офелии.

[2] Кокошкин Федор Федорович (1773—1838), известный в свое время театральный деятель и автор множества пьес.

[3]) Кн. Шаховской Александр Александрович (1777—1846), плодовитый драматург и известный театральный деятель. О нем в истории руского театра сохранилось множество забавных историй и анекдотов.

— Сзалься, сзалься, скаси, как я учил.

Другой раз Шаховской долго не мог добиться энергичного чтения монолога от одной заслуженной артистки. Заставлял повторять несколько раз и все злился:

— Сквельно! Мельзко!

Наконец, не вытерпел и выпалил:

— Пельцу тебе... в рот!..

Она вспыхнула:

— Князь, вы забываетесь!

— Плекласно, плекласно!

— Я женщина, а вы позволяете себе меня оскорблять?

— Вот, вот, вот... Так холосо, очень холосо.

И его, и Кокошкина вспоминали, как хороших учителей.

В это время я, будучи 5 лет, играла первый раз в опере «Отец и дочь», переделанной впоследствии Ободовским [1]) в драму. В опере участвовали: Репина, Лавров, Бантышев, Сабурова [2]), Савицкая, других не помню. Роль моя была со словами. До меня играла племянница Репиной, Павлова, но она оказалась очень увесистой, ее трудно было таскать по горам. Я была миниатюрой.

Боялись, чтобы я не испугалась Лаврова в костюме сумасшедшего, в цепях, но он оделся и

[1]) Ободовский Платон Григорьевич (1805—1864), писатель и драматург.

[2]) Лавров Николай Владимирович (1802—1840), московский певец.—Бантышев Александр Олимпиевич (1801—1860), московский певец.—Сабурова Аграфена Тимофеевна (ум. в 1867 г.), известная московская артистка.

загримировался раньше, пришел ко мне в уборную, все время разговаривал со мной и обещал подарить конфект, если я сыграю хорошо.

Все обошлось благополучно и я очень гордилась, что на афише было напечатано: «Девица Куликова». Больше я ничего не могу вспомнить о московском театре того времени.

По окончании школы брат жил некоторое время с нами. Он и сестра много зарабатывали и помогали отцу: брат учил танцам и на виолончели, а сестра—пению и игре на фортепиано.

Благодаря брату в нашем доме появились многие известные в то время люди: брат был очень симпатичный юноша, остроумный, владел стихом и писал и переводил пьесы и его очень любили. Бывал у нас П. В. Нащокин [1]), который представил брата Пушкину (брат описал это в «Русской Старине»), бывали А. И. Цемп, Ф. А. Кони [2]), Песоцкий, Межевич [3]) и В. Г. Белинский.

Брат очень любил меня, а я в нем души не слышала. Он учил меня декламировать стихи, читать монологи из пьес, например, «Какаду», «Воздушные замки» и брал меня всюду с собой.

Кроме занятий вне дома, брат имел на дому уроки танцев. Учились все взрослые и я с ними должна была танцовать. Помню, на виолончели

[1]) Нащокин Павел Воинович (1800 1854), один из самых близких друзей Пушкина.

[2]) Кони Федор Алексеевич (1809—1879), писатель и драматург.

[3]) Межевич Василий Степанович (1813—1849), писатель.—Песоцкий И. И., основатель журнала „Репертуар“.

у него учились играть двое взрослых парней, чьи то крепостные, и одному из них, Порфирию, плохо приходилось: он был бестолков и брат его очень бил. Такой огромный верзила плачет, бывало, и слова не смеет сказать. Хотя мне его и жаль было, но меня не возмущали поступки брата: и я была убеждена, что так и быть должно. Брат был горяч и даже барышням от него доставалось: он их иногда смычком бивал по ногам. Благодаря брату, я попала к М. С. Щепкину [1]). Это было в конце 30-х годов.

Около сестры кружилось много молодежи: она была очень красива.

Что касается ее харатера, не знаю. Видела только, что она любимица матери и завидовала ей. К нам в дом хаживал актер И. В. Орлов (настоящая фамилия его Копылов), вдовец из дворян. Было ему лет за сорок, мы с сестрой звали его «дедушкой» и очень любили, так как он носил нам конфекты. Однажды меня призвали в комнату, — я вижу, что сестра сидит рядом с дедушкой; родители объяснили мне, что он—ее жених. Я так громко и неприлично расхохоталась, что меня выгнали из комнаты. После этого мы с дедушкой охладели друг к другу, и он меня больше не ласкал.

Я спрашивала впоследствии сестру, чем он ей понравился, — старик такой молоденькой. За

[1]) Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), знаменитый актер, „отец“ Малого театра в Москве и автор замечательных „Записок“ (см. „Записки крепостного актера“, „Современные Проблемы“, М., 1928 г.).

нее сватались женихи молодые: П. И. Борегар, который содержал театральный буфет, купец Сучков, владелец мучных лавок. Она об их предложении сама рассказывала Орлову (еще «дедушке»). Он одобрял: «выходи, выходи, оба хорошие женихи. Я приду к Борегару в буфет, спрошу бутылку вина, если он даст плохого, я эту бутылку об его морду и разобью. А Сучкову, если отпустит дурную муку, я весь мешок высыплю на голову. Они—лавочники, ничего не посмеют сделать, а я—дворянин и все могу». Этим он и оттолкнул ее от женихов.

Надо думать, что он прельстил ее своим дворянством. И бабушка говорила: «жених завидный, дворянин, Параша будет барыней». Нужно знать, что значил в то время дворянин и как звучало тогда слово «барыня» в среде, окружавшей нас. По улице идет, сейчас увидишь: лакей сзади, хотя бы и в разорванной ливрее. И одежда другая, и о прислуге говорит: «мои хамы», «мои хамки».

Бывало, оденется девушка из нашего круга понаряднее, ее и корят: «что, словно барыня, разоделась»?

Целая пропасть между дворянином и простым человеком. Помню, когда я уже играла на сцене, у меня, в моей гостиной, сидел один камердинер, знакомый еще моего отца, почтенный господин. Камердинеры бывали люди важные, жившие подолгу за границей, владевшие языками, по тогдашнему много читавшие. Например, ка-

мердинер графа Гудовича, почтенный старец, женат был на француженке и свободно говорил по французски. И были они не простые дворовые, а, так сказать, управляющие двором. Так вот, такой камердинер и сидел у меня. Отворяется дверь и входит молодой Окулов, знакомый Герцена, бывавший у него в доме. Конечно, камердинер тотчас встал с места, помялся и вышел. Окулов был мой театральный поклонник, но с тех пор перестал бывать у меня.

Орлов очень важничал своим дворянством. В это время все было принижено, все сгибалось перед барином и перед начальством. Бывало, входит в репетиционную залу Верстовский, все встают и не садятся, пока он не сядет, даже старухи в чепцах и шляпах, знавшие Верстовского еще незначительным человеком, когда он сам в них заискивал. Один Орлов высоко держал голову и даже воевал за сестру с Верстовским. Дорого поплатилась сестра за свое дворянство. Орлов был человек не злой, очень богомольный, но деспот и хвастун. Упорно держал себя деспотом в семье, ему нравилось, что перед ним все трепещут, точь в точь как самодуры у Островского, и притом любил выпить. У него были большие круглые глаза, а как напьется, — они делались еще больше и становились совершенно бессмысленными.

В это время у него являлась страсть говорить по французски, с варварским акцентом. В день свадьбы, рассказывали, он был совсем пьян и

обратился к кому то: «экуте», а В. И. Живокини [1]), стоявший рядом, сострил: «Эк-у-те глаза-то».

Вскоре после свадьбы сестры брат был переведен режиссером в Петербург. В его комнате у нас поселились актер Немчинов [2]) и певец Максимов, а меня взяли к себе Орловы. Жить мне у них было очень скучно. Все находились постоянно под страхом: смотрят, бывало, какой ногой сам встал с постели. Целые дни все ворчит и брюжжит.

По его настоянию меня перестали пускать к Щепкину. Орлов не мог понимать М. С., называл его лакеем и находил, что мне неприлично бывать там. И все у него были неучи и дураки. Чаще всех из артистов бывали П. Г. Семенов и Н. М. Никифоров,—оба уже известные артисты, но другого имени, как Петька и Никашка, им не было. А они оба называли Орловых «батюшка», «матушка», подходили к ручке и были у них на посылках.

Вспоминаю единственный визит Мочалова. Сестра была больна, не выезжала. Он приехал навестить ее, был выпивши, вошел прямо в шубе и отправился в спальную. Я сидела в первой комнате. Грустно было видеть, как Орлов его выталкивал. Проходя мимо, Мочалов погладил меня по голове и успел дать пятак на пряники.

[1]) Живокини Василий Игнатьевич (1807—1874), известный комический актер.

[2]) Немчинов Иван Иванович (1791—1861), московский артист.

Хаживали из школы Миша Шуберт и Сережа Шумский. Настоящая фамилия последнего—Чесноков. Как то в школьном спектакле еще при директоре Кокошкине он с успехом сыграл роль Шумского в водевиле «Дебют актрисы Троепольской». Кокошкин, по окончании пьесы, подозвал Сережу: «хорошо, милый, очень хорошо. Будь ты отныне Шумский». Впоследствии Шумский, более развитой, чем Шуберт, перешел к М. С. Щепкину, а Миша, попроще, прильнул к Орловым, умел ладить с зятем и по выпуске из школы жил у них.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Переезд в Петербург.—Петербургская театральная школа конца 1830-х и начала 40-х годов.—Система воспитания.—Надзирательницы, учение, быт, школьные спектакли.—Пансион г-жи Эттер.—Н. Н. Солодовников.

Брат ездил как то заграницу со своим знакомым Аничковым. Проездом через Петербург он познакомился с Ив. Ив. Сосницким [1]), который в то время был режиссером петербургского театра. Сосницкий полюбил брата, уговорил его перейти на петербургскую сцену и потом устроил его режиссером. Основавшись в Петербурге, брат предложил моим родителям поместить меня в петербургскую театральную школу и просил только доставить меня как нибудь к нему.

Путешествие в Петербург было тогда не такой простой вещью, как теперь, ждали случая или оказии. Такой оказией была поездка моей сестры в Старую Руссу: врачи отправили ее на только что открытые там грязи лечиться от чахотки. Орловы решили взять меня с собой, а оттуда переправить в Петербург. Это в 1837-м или 8-м году. Я ехала, не зная еще, что не возвращусь более в Москву, и потому нисколько не

[1]) Сосницкий Иван Иванович (1794—1877), знаменитый актер.

скучала и не чаяла, что в последний раз обнимаю мою дорогую баловницу бабушку.

В Старой Руссе оказался родственник зятя, Ал. Ив. Отилье. Какую он должность занимал — не знаю, но носил фуражку с красным околышем. Это я помню потому, что когда мы гуляли с ним по городу или в общественном саду, то обыватели при встрече снимали шляпы и кланялись. На мой вопрос: что это значит, мне пояснили, что после последнего бунта [1]) приказано было в виде наказаний всем обывателям снимать перед чиновниками шляпы, — Отилье был мелким чиновником.

По окончании курса лечения мы сели на пароход и приехали в Новгород. Помню, как меня разбудили рано утром: «Вставай, Саша, приехал дилижанс, поезжай в Петербург». Не успела я опомниться, как меня, полусонную, посадили в дилижанс рядом с кондуктором и мы покатили. Все было уже заранее устроено, кондуктору был дан адрес моего брата, и он доставил меня на Фонтанку, в дом Латкина, к какому то Казимиру Ивановичу, у которого брат снимал комнату. Брата не было дома: он несколько дней уже гостил у кого то на даче. Казимир Иванович принял меня, провел со мной целый день, развлекал, как мог, и водил гулять в Летний сад.

[1]) Повидимому, имеется в виду бунт военных поселян, вспыхнувший в Старой Руссе в июле 1831 г., распространившийся оттуда почти на все военные поселения и подавленный с невероятной жестокостью. Этот бунт и послужил главной причиной последовавшего затем расформирования военных поселений.

Ночью, вероятно, я расплакалась: помню, что меня выносили в зал, где много народу сидело за зелеными столами.

На другой день вернулся брат. Он почему то передумал отдать меня в театральную школу, а повел к М. И. Воронцову и поместил на воспитание к его гражданской жене Терезе Федоровне. У них была дочь Сашенька моих лет. Тереза Федоровна была хорошая немка, терпеливая, умела хорошо приняться за воспитание: приучила меня к аккуратности, старалась больше действовать убеждением и не прибегала к колотушкам и розгам, к которым я так привыкла дома. Впрочем, сечь меня и там было трудно: только, бывало, мать возьмется за розгу, я подниму такой неистовый крик, что нет возможности приблизиться ко мне. Так, бывало, мать и бросит. Привыкнув с детства получать за каждую шалость затрещину, я, конечно, и тут старалась лгать и вывертываться. Тереза Федоровна страшно возмущалась моим лганьем. При всякой провинности я неизменно говорила: «я не знаю, не я». Смешно сказать, даже теперь на старости лет, если случится разбить что нибудь, — первое слово лезет на язык: «я не знаю, не я». Не могу не рассказать моего последнего лганья, потому что очень уж вышло глупо, и я с тех пор стала стыдиться обманывать. По утрам, когда не все еще были готовы к чаю, я должна была садиться за фортепиано, но сперва вытереть пыль с него и со стула. Стул был высокий, красного дерева,

со спинкой; на спинке, в виде украшений, четыре звездочки из красного же дерева. Вытирая как то пыль, я опрокинула стул. Он упал и одна звездочка разломилась и отскочила. Чего я испугалась, не понимаю (а мне был уж 10-й или 11-й год), только я схватила звездочку и бросила ее лоханку с водой. А сама пришла в столовую и говорю: «у нас несчастье». — Какое? — «Звездочка пропала». — Какая? — «От стула». Теперь припоминаю, с каким комизмом все принялись ее искать. Наконец кухарка торжественно вытащила ее из лоханки. Все начали надо мной смеяться, а я сильно сконфузилась. Вероятно, я боялась розог, так как Воронцов очень любил сечь меня и Сашеньку. Повидимому, он сек без всякой злобы, — просто порка доставляла ему удовольствие. Помню, как то на масленице мы с Сашенькой пристали к нему, чтобы он свел нас на Адмиралтейскую площадь, где тогда устраивались горы. Он обещал, но с условием, что мы позволим себя выпороть не в зачет. Мы согласились. Отстегавши нас, не особенно впрочем больно, он сдержал свое обещание. Не понимаю, почему Тереза Федоровна смотрела на это хладнокровно. Странный он был человек. Говорили, что прежде он был актером, потом служил сыщиком в полиции. При мне он был комиссионером, перепродавал разные товары, давал деньги взаймы. Вообще же он был циник, дома ходил грязный, неопрятный, в одном нижнем белье, не стеснялся в словах и выражениях.

Когда маменька приехала через три года из Москвы навестить меня, то в ужас пришла от этой обстановки. Она умоляла брата поместить меня куда нибудь в другое место. Решили отдать в театральную школу, но не в казенные, а в вольноприходящие, чтобы, как говорил брат, не отслуживать 10-ти лет дирекции за воспитание.

Меня поместили к надзирательнице М. О. Ларионовой. Маменька сама ходила со мной к директору Гедеонову [1]) просить разрешения посещать мне все казенные классы: музыкальные, танцовальные и учебные. Гедеонов был самый мягкосердечный человек. Он принял нас ласково и дал разрешение пользоваться всеми классами. Так началось мое правильное учение. Собственно начали учить меня еще в Москве. Как я выучилась грамоте, положительно не помню; даже кто учил, не знаю, вероятно, мать. Помню почему то, что склады «сплю» не могла заучить по тогдашней методе аз-буки-веди. А мать сделает жест— спать, и я радовалась, что могу догадаться. Учили сначала шутя, не строго. Учила меня княжна Вяземская и старушка англичанка Дункен, не знаю, почему знакомая с моими родителями и занимавшаяся со мною бесплатно. Но ничего из этого не выходило, так как я была очень ленива, а ученье для меня было каторга.

[1]) Гедеонов Александр Михайлович (1790—1867), с 1833 г. директор спб. театров, с 1847 г. — директор театров обеих столиц, грубый чиновник, притеснявший артистов. Отзыв о нем автора воспоминаний, как о „мягкосердечном человеке“, резко противоречит показаниям огромного большинства современников.

Когда я жила у Орловых, брат подговорил мне учителя Соловьева [1]), впоследствии режиссера московского театра. Он учил меня наукам, но учение не подвигалось, несмотря на всю мою боязнь Орлова: я только сижу, бывало, смирно за уроками, а учиться и не думаю. Грамоте меня учила матушка, шутя, не строго; я скоро выучилась, рано стала читать и очень полюбила чтение. Первая серьезная проза, которая произвела на меня впечатление, это: история Иосифа с братьями. Я ее сама вычитала и рассказала всем, кому могла.

Впрочем, больше всего я делилась впечатлениями с бабушкой и кухарками. Еще у меня была любимая книжка — Римская история, небольшого формата, напечатанная крупными буквами на синеватой бумаге с невозможными картинками. Ромул и Рем в синих рубашках и желтых штанах, босые, стоят рядом; длинные белокурые локоны спускаются с плеч; у ног их лежит волчица. Потом похищение сабинянок: бегут воины, а на плечах у них дамы в шлейфных платьях с короткими талиями, как носили в 20-х гг. Умирающий Цезарь и Муций Сцевола, сжигающий руку. Оба в шишаках и латах, как одевались средневековые рыцари.

Еще был у меня сборник, книга большого формата, тоже на синеватой бумаге, с крупной печатью. Из нее я познакомилась с Ильею Му-

[1]) Соловьев Сергей Петрович (1817—1879), драматический писатель и режиссер.

ромцем, Соловьем Разбойником, Алешей Поповичем, Чурилой Пленковичем. Остался из нее же в памяти обрывок басни:

Гусь утке говорил:
«Куда ты, утка?
Имеешь мало у себя рассудка.
И кто тебя такой походке научил
Ходить и ковылять?»
На эту речь сказала утка:
«Ква, ква, ква».
И повторила раза два,
А значили сии слова:
«Какой де ты, гусишка,
Великий хвастунишка».

Дальше не помню стихов, а пошли к петуху на суд, тот их и рассудил. Книги эти подарены мне были актером московского театра Ив. Ив. Немчиновым, у которого, по моим тогдашним понятиям, была огромная библиотека. Особенно остались в памяти еще: «Гулливерово путешествие» и «Черный гробик», «Кровавая звезда», роман с разбойниками, который я читала всласть.

Да, хорошие были тогда книжки — таких уж теперь не издают!

Петербургская театральная школа конца 30-х и начала 40-х годов представляла невообразимую, невероятную распущенность. Инспектором был некий Федоров, лицо ничем незаметное. Он не долго был при мне. Случилась растрата, он и эконом были смещены. На его место инспектором был назначен Ф. Н. Обер, бывший гувер-

нер сыновей Гедеонова; он же был учителем французского языка в старших классах. Старшая надзирательница Фигарейд была грубая необразованная баба, и ее в грош не ставили, а классных дам и подавно.

Все они набирались из барских нянюшек и были удивительные воспитательницы: Бурцева только всем уши драла походя; простая баба Русанова рассказывала взрослым девицам двусмысленные анекдоты; Пелагея Иван., очень, очень старая, еле ходила, ее для облегчения перевели в лазаретные; Минна Ив., бессловесная немка, приятельница Андреяновой, а Ек. Васильевна Румянцева, протеже Дубельта [1]), и совсем позорными делами занималась. М. О. Ларионова, к которой меня поместили, была из воспитанниц этого же училища. Она хорошо училась, но к сцене не имела способностей, была скромная и тихого характера. По выпуске ее сделали классной дамой.

Когда я поступила к ней, она была уже перезрелая дева. Кроме меня, были еще девочки из приходящих и некоторые казенные воспитанницы, учившиеся за особую плату—всего человек 10.

При поступлении в школу я чуть было не лишилась глаза. Прошел слух, что на сцене ходят мертвецы. Собралось нас несколько девочек и отправились мы этих мертвецов смотреть. Из

[1]) Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), известный в свое время жандарм, управляющий знаменитым III Отделением.

танцовальной залы был ход в одну ступень на сцену, по вечерам не освещенную, а со сцены 7 ступеней в переднюю. А сцена была местом свидания девиц с воспитанниками, которым удавалось проскользнуть незамеченными. Вообще попасться было трудно: на всю школу, на все несметное число комнат была одна дежурная дама, где ж тут усмотреть!

Итак, мертвецам было очень удобно по вечерам проводить время на темной школьной сцене. Я после все это сообразила. И вот мы пробрались на сцену, как вдруг кто то хлопнул в ладоши, мы бросились стремглав, и я упала, сильно стукнувшись глазом о ступеньку. Кровь лила ручьем, я лежала несколько минут без чувств. Дежурной была добрейшая старушка Пелагея Ивановна. Она прикурнула в спальне и очень испугалась, когда ей объявили о моем обмороке. Вскоре после этой истории ее перевели надзирательницей в лазарет. Шесть недель у меня был закрыт глаз, думали, что окривею. Мне не велели показываться на глаза директору; боялись, что он будет строго взыскивать. Через шесть недель глаз открылся, но шрам на правой брови остался навсегда.

Ларионова дралась до остервенения линейкой, притом ребром, по чем попало, и я всегда ходила избитая, уши с запекшейся кровью, шея и руки в синяках. Жаловаться было нечего, битье везде было, да и всем одинаково доставалось. Особенно памятна мне Лиза Лукашова.

Бывало М. О. Ларионова вытаскивала ее из за стола и волочила за волосы по полу до тех пор, пока не останутся в руках у нее пряди волос.

Случалось, мать Лизы заставала ее в слезах растрепанную, но не заступалась, а только вместе с ней плакала.

Шалостей особенных не было, доставалось же за незнание уроков и за диктовку. Розги не были в ходу, но зато был дурацкий колпак, очень высокий, зеленого цвета с меховыми ушами, — посредине нарисован осел с высунутым языком.

Это украшение раз надевали на меня за неопрятность во время сна и водили по всем залам. Такое наказание для меня было хуже битья. Впрочем, меня жестоко выдрали ремнем почти понапрасну, но, конечно, в глазах старой целомудренной девы я была преступна. Все у нас имели свои «предметы», кроме некрасивых, которые были примерно нравственны и очень богомольны. Была одна из средних, недурна собой; но все ее не любили, звали отчаянной, за что — не знаю, я от нее была далека по возрасту и вообще ею не интересовалась. Эта самая Саша П. обратилась ко мне с просьбой в первый раз в жизни. Она дала мне пустую бумажку в виде записки и просила, чтобы я имела ее на виду у старших девочек и сказала, что имею передать записку от воспитанника Ленца. Воспитанник Ленц был солидный молодой человек на хорошем счету. Я тотчас согласилась, видя, что

это шутка, и проделала все, как указано. В другой раз она попросила пронести тем же порядком какой нибудь подарок из моих вещей—будто бы от Ленца. Я исполнила и забыла об этом. В один злосчастный день призывает меня Марья Осиповна [Ларионова]. Возле нее стоит Ленц, взволнованный, рассерженный. На их вопросы я без страха рассказала все, как было. Влюбления, переписки были так обыкновенны, что я не видела тут дурного, тем более, что на самом деле ничего не было. Но... меня отвели в салонную и отодрали ремнем. Хотя я никому не жаловалась, но это дошло до брата. Однажды в праздник он пришел ко мне в отсутствие Ларионовой, снял с меня пелерину и, осмотревши руки и спину, ужаснулся обилию синяков. Он написал Ларионовой грозное письмо с обещанием пожаловаться директору Гедеонову. Она испугалась, просила у брата прощения и с тех пор она утихомирилась. Учила она, впрочем, хорошо: все ее ученицы в казенных классах были первыми.

Наук тогда было много и все мудреные: эстетика, археология, мифология и др., но как они проходились, видно из того, что меня, 11—12 летнюю девочку, посадили в старший класс и я взрослым девицам поправляла уроки и показывала страны и города на географической карте. Учитель русского языка Турчанинов буквально весь урок, до самого звонка, проводил в разговорах с директрисой Фигарейд или дежурной

надзирательницей; еле вызовет одну-другую ученицу прочесть что нибудь. Он учил младший класс. Хороший, говорят, был учитель Сорокин, преподававший словесность и эстетику, но я была так еще молода, что мало его понимала, и не знаю, зачем меня посылали в его класс. Жаль, что я не сохранила тетрадку эстетики: я ничего тогда не понимала и учила в зубрежку. Учитель географии и истории, Тетелов, сердитый, грубый человек, все ругался, упирая на букву о: «бо̀лваны, по̀пугаи!» А на уроках арифметики у добрейшего Малиновского мы положительно ничего не делали, все время дурачились и устраивали себе разные развлечения. Французский язык в младших классах [преподавала] м-ме Фале, в старших — Обер. Еще были учителя итальянского языка для тех, кто учился петь. Учитель чистописания; законоучитель о. Петр. Наконец учитель археологии, мифологии и декламации А. П. Алимпиев. Ему я обязана тем, что меня скоро взяли из школы, но о̀б этом будет ниже. Музыкальных и танцевальных учителей было много. Талантливым учителем был в старших классах Солива. [1]) Упоминаю о нем потому, что все его ученики и ученицы вышли отличными музыкантами: напр., Лядов, Семенова [2]) и др. Он поссорился

[1]) Солива (Carlo Evasio), итальянский композитор (1792—1853). В Петербурге подвизался с 1832 г. по 1841 г.

[2]) Лядов Константин Николаевич (182?—1868), капельмейстер и композитор.—Семенова Нимфодора Семеновна (1787—1876). Более чем сомнительно, чтоб она училась у Сэлива.

с Гедеоновым и оставил школу. Все искренно сожалели о нем.

Впрочем, главной наукой были танцы, и на них было обращено все внимание дирекции. Балетмейстер и главный учитель был Титов[1]); был в то же время и старик Тальони[2]), отец знаменитой тогда балерины, танцовавшей в Петербурге.

Помню я ее самое: она ездила каждый день в школу танцовать и по вечерам бывала на репетициях. Мы смотрели на нее как на божество. Красавицей ее нельзя было назвать, но у нее были чрезвычайно изящные манеры и вся она была какая то воздушная. Имея довольно большой рост, она не поражала им; того времени танцовщицы все были великорослые: Круазет, Бертран, Телешова, Дюр[3]).

Всех маленьких обязательно учили танцам и, когда они подрастали, хорошеньких оставляли в балете, а дурнушек и неуклюжих пристраивали к драме. И самим детям лестно было остаться в балете. Балетных особенно баловали, и так как они участвовали в представлении и репетициях, то были избавлены от классов и могли

¹) Вероятно имеется в виду Титюс, балетмейстер.

²) Тальони Филипп (1777—1871), балетмейстер, автор балета „Сильфида“.—Тальони Мария (1801—1884), его дочь, знаменитая танцовщица, пользовавшаяся в свое время славой первой танцовщицы в Европе.

³) Телешова Екатерина Александровна (1805—1850), известная танцовщица, ученица Дидло. — Дюр Марья Дмитриевна (1815—1868), урожденная Новицкая, танцовщица, впоследствии драматическая актриса.

долго спать. По их примеру и старшие драматические спали долго.

По утрам спальня представляла полный хаос: кто пьет чай или кофе в постели, кто спит, кто переодевается в танцовальное платье. Еле-еле к самому обеду управятся. Со средними и маленькими не церемонились, а большие были совсем вольницы: классные дамы перед ними пикнуть не смели. Вновь поступившие на казенный счет девочки отдавались под начал старшим и средним воспитанницам. Это были истинные мученицы. Они исполняли роль горничных при своих покровительницах: бегали в буфетную с чайниками и кофейниками, одевали старших, застегивали им платья и за все награждались колотушками. Я, к счастью, была избавлена от этой крепости, как не казенная.

Мальчикам житье в школе было горестное: их держали в черном теле и жестоко били. Особенно отличался Аубель, необыкновенной толщины мужчина. Воспитанники жаловались: встретится, бывало, Аубель в коридоре и ни с того ни с сего по лицу ударит, или за волосы схватит, или подзатыльник даст.

Господствующим настроением школы, по крайней мере на нашей половине, была влюбленность. Даже мы, маленькие девочки, не отставали: каждая занималась каким нибудь воспитанником. Состояло это в том, чтобы разговаривать о «нем», как о своем «предмете», хотя «предмет» сам и не ведал этого, а если и знал, то с ним

стыдно было говорить, его надо было избегать, а то свои же засмеют. Если же один предмет надоедал и нравился другой, то можно было поменяться с придачей пирога или чего нибудь сладкого. Я была одновременно влюблена в двух; первый и не ведал этой чести, а второму пересказали и мне было очень стыдно. Подобной любовью пробавлялись маленькие и подростки, а старшие воспитанницы уже отворачивались от своих сотоварищей и занимались гвардейскими офицерами, которые в известные часы гуляли по театральной улице, от Александринского театра до Чернышева моста. Называлась эта улица «Улицей любви». В теплое время окна открывались без церемонии, и воспитанницы стояли у окна, поджидая каждая своего обожателя.

Зимой, когда окна были замазаны, приходилось становиться на окошки, и то гвардейцам видна была только голова. Поэтому зимой воспитанницы ходили растрепанные, с большими платками на плечах, но головы убирались тщательно разнообразными прическами, чтобы пленять головкой. На караул ставили маленьких для предупреждения о дежурной даме, хотя дамы смотрели на это сквозь пальцы, а в ответ на замечания получали только дерзости. Как девицы объяснялись со своими гвардейцами, в это я не была посвящена. Знаю только, что офицеры ухитрялись пробираться к нам полотерами и, натирая полы, вели подходящие беседы. По-

мню, раз как то забрался князь Мещерский. Были случаи, что они рядились кучерами и возили воспитанниц в театр на казенных линейках. Верными воспитанникам оставались или некрасивые или драматические, и директор не любил, когда выходили замуж за своих. Прямо высказывал приходившим к нему за формальным разрешением:

— Охота пришла нищих разводить.

Оно отчасти была и правда, потому что нашим детям театральная школа была недоступна. Она принадлежала к дворцовому ведомству и туда попадали большей частью дети придворных служителей, через покровительство сильных, или дети гвардейских офицеров, прижитые с актрисами. Так дети Мартынова [1]) попали в в школу только за плату: за одного платил директор Сабуров, а за другого министр Адлерберг [2]).

Нельзя сказать, чтоб атмосфера школы была чистая и чтобы дело ограничивалось только платоническими переглядываниями через улицу. Далеко не все обстояло благополучно и в самой школе. Инспектор Обер, бравый мужчина лет 40 с чем нибудь, разыгрывал роль любящего отца и, прикрываясь непринужденной веселостью, обнимал старших воспитанниц, целовал, говорил «ты», называл полу-именем. Водил к себе

[1]) Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860), знаменитый драматический актер.

[2]) Гр. Адлерберг Владимир Федорович (1790—1884); в описываемое время министром еще не был.—Сабуров Андрей Иванович (1797—1866), директор императорских театров.

девиц чай пить (квартира его была на одной лестнице со школой) и впоследствии лишился места по какому то скандальному случаю. Другой любезник был Алимпиев, учитель археологии, мифологии и декламации. В классе он врал всякие неприличные вещи, ловил и щипал воспитанниц. Должно быть, я его очень стесняла — одна маленькая между взрослыми,—и он не раз говорил мне: «И скоро ли ты, Сашенька, изчезнешь отсюда?»

Потом Л. В. Дубельт. Этот благодетельный старичек, каким я его считала, был другом директора, свой человек у него в доме, значит свой и в нашей школе.

Понравилась ему одна взрослая девица и он устраивал с ней свидания в квартире классной дамы, своей протеже, Е. В. Румянцевой. Чтобы прикрыть неблаговидность этого, он выбрал еще несколько подростков, присылал им гостинцы и платил месячное жалование; они называли его папашей, а он их дочками. Директор вообще способствовал знакомству девиц с разными барами. Так, великим постом устраивались спектакли на школьной сцене. Почетными посетителями были приятели директора: Нессельроде, Жеребцов [1]) и многие другие. В антрактах эти господа прогуливались со своими избранницами. Просто это тогда делалось. В обычное

[1]) Гр. Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862), государственный канцлер, дипломат. Ярый реакционер, враг Пушкина.—Жеребцов Николай Арсеньевич (1807—1868), писатель инженер и администратор.

же время в школу редко кто заглядывал, особенно из высочайших особ. Вспоминаю, какой поднялся переполох в школе, когда однажды великий князь Михаил Павлович [1]), разговаривая с одной из воспитанниц в балете, сказал, что приедет на другой день в школу. Это было очень неожиданно. Всю ночь не спали, всюду чистили, скоблили, развешивали на стенах, на дверях рисунки и стихи.

Однако, все обошлось благополучно. В. кн. не похвалил и не побранил. Пробыл всего несколько минут, разговаривал с танцовщицами, потом отправился к мальчикам наверх. Там нашел беспорядок в спальне, но ограничился только заявлением, что у него в корпусах гораздо чище.

Спустя, не помню сколько времени, принц Ольденбургский [2]) заявил о своем посещении в такой то день. Опять пообчистились, умылись и стали ждать. Прождали до пяти часов, наконец, решили, что принц не приедет и стали обедать. Начальство разошлось по своим углам. Вдруг во время обеда принц как из земли вырос. Девицы подняли такой визг, что дежурной даме сделалось дурно. Прибежал Гедеонов, насилу успокоил. Когда все утихло, принц заметил, что не все места заняты, и спросил, где же остальные. Ему сказали, что отсутствующие на репетиции. По отъезде принца Гедеонов пошел отыскивать выскочивших из за стола девиц и нашел их в са-

[1]) Четвертый сын Павла I. (1798 — 1848).
[2]) Вероятно, принц Петр Ольденбургский (1812—1896).

лонной, куда они попрятались от страху, так как по обыкновению были растрепанные, в расстегнутых платьях и с распущенными волосами.

Государь Николай Павлович любил балет, разговаривал с воспитанницами, поощряя таланты и хорошее поведение. Г-жа Голов. несправедливо написала, что жене Самойлова и Максимова выдано большое приданое за какие то заслуги[1]). Я обеих знала. Это были девицы строгой нравственности. Любимицей его была Шлейфохт, которую все уважали за примерное поведение и благочестие. Первыми балеринами были только что выпущенные из школы Смирнова и Андреянова[2]); из приезжих Тальони. В прежние времена всегда выписывалась из за границы какая нибудь знаменитость,—своими не довольствовались. Постановка балета была роскошная. Когда ставили «Восстание в серале», государь сам наблюдал, как учили военным эволюциям. По окончании балета он назначил по значительной сумме денег главным исполнительницам из воспитанниц. В это время Шлейфохт обратилась к государю с просьбой выкупить ее отца из крепостной зависимости, что государь и исполнил. Этот случай мне рассказывали.

На школьной сцене пьесы разыгрывались старшими, средними и маленькими.

[1]) Имеется в виду намек А. Я. Панаевой-Головачевой на сожительство жены артиста Максимова Н. С. Аполлонской с Николаем I (см. Ав. Панаева, „Воспоминания", стр. 44).

[2]) Андреянова Елена Ивановна (1819—1857), известная танцовщица.

Помню, в одно из воскресений поставили комедию в стихах: «Не любо, не слушай, а лгать не мешай». Я играла роль не то графини, не то княгини, и, говорят, отлично читала стихи. Меня очень хвалили. От успеха у меня до такой степени закружилась голова, что я вообразила себя чуть не гением, но скоро оборвалась. Через день после первого спектакля ставили два акта из «Горе от ума». Артистка, которая должна была исполнять роль Софьи Павловны, захворала и за день до представления вернула роль. Спросили меня, могу ли я выучить С. П. Я с уверенностью взялась. Добро бы учила, а то помню, что все бегала да играла, так как мне дали льготу на эти два дня и уроками не беспокоили. На что я надеялась, не понимаю. Вышла на сцену, немножко поговорила и запнулась. Суфлер кричит, кругом подсказывают,—ничего не понимаю. Надо сказать, что я от природы глуха, а в детстве была еще глуше. Кое как кончили первый акт. По опущении занавеса начали меня с досады бранить: всем хотелось отличиться, а я их подвела. Скверно мне было, а между тем надо было кончать второй акт. Я как то обозлилась и на сцене спокойно и твердо говорила свою роль прозой, возбуждая громкий смех зрителей. Это еще более возмутило участвовавших. По окончании спектакля я разревелась. Меня долго преследовали за этот вечер и после того долго играть ничего не давали. Играла я потом раз

в бенефис брата в пьесе «Ремонтеры» не помню какую роль. Вышла на сцену, в глазах потемнело, и я стала что то бормотать. Вышло совсем плохо. Получила выговор от брата, которого очень любила и боялась.

В школе я пробыла не больше двух лет: год училась танцовать, а потом только пению и музыке.

Брат ни за что не хотел, чтобы я вышла в балет: он смотрел на балетных, как на особ легкого поведения. Он взял меня от Ларионовой и по рекомендации учителя Алимпиева отдал в пансион г-жи Эттер, помещавшийся на Вознесенском проспекте, в доме Дьячковой. Дело вела сама г-жа Эттер, старушка вдова и ее две дочери: Роза Карловна и Луиза Карловна. Пансион был маленький, нас живущих было только шестеро, остальные были приходящие. За меня платили 600 рублей ассигнациями. Мне думается, что в таком пансионе воспитывалась г-жа Манилова; главная наука была — хорошие манеры. Обучали, как надо при разговоре делать приятное лицо и милую улыбку, и все на этом было построено; будили даже ночью, если бывало раскинешься и спишь в полную волюшку; нужно стараться спать красивее. Платили за меня аккуратно, но брат не мог делать подарков, что играло большую роль в нашем пансионе и тяжело отзывалось на мне. Был такой обычай. В именины г-жи Эттер и ее дочерей классы отменялись и все ученицы пригла-

шались на шоколад. Во время шоколада делались подношения: воспитанницы были из состоятельных семейств: купечества, духовенства, богатых ремесленников; одна я ничего не могла поднести и мне было очень неловко перед другими. К тому же я была известная ленивица, и мне говорили с попреком, что если уж мне нечем порадовать своих учительниц, то хоть бы прилежанием утешала. Все же жизнь в этом пансионе была сносна до тех пор, пока не привезли к нам из Москвы новую воспитанницу, Катю Лаврову (известную потом московскую артистку Васильеву)[1]. На погибель мою она рассказала, что мои родители из крепостных. С этих пор мною положительно стали пренебрегать, даже куски давали похуже, — мужичка-де, все съест. А я, к несчастью, многих немецких блюд терпеть не могла (до сих пор вспоминаю клецки с черносливом) и положительно голодала. Хотя в пансионе Эттер меня не били, только изредка за уши драли, но жилось мне не очень сладко. Все праздники я проводила в пансионе. Раз брали меня к себе Самойловы[2], да изредка вместе с Катей Лавровой ездила к Третьяковой (муж ее служил в Александринском театре) и бы-

[1]) Васильева I Екатерина Николаевна (1828—1877).

[2]) Знаменитая артистическая семья Самойловых состояла из брата и трех сестер. Василий Васильевич С. (1813—1887), знаменитый драматический актер с обширным и разнообразнейшим репертуаром; Марья С.—недолго оставалась на сцене; Надежда С.—преимущественно комедийная и водевильная актриса и Вера С.— замечательная артистка, для которой Тургенев написал „Провинциалку“ и „Где тонко, там и рвется“.

вала с Катей за кулисами, о чем мои воспитательницы строго запрещали рассказывать. С нами воспитывалась незаконная дочь П. Д. Дурново, зятя министра кн. Волконского[1]); ей присылали ложу в театр, и с ней все ездили, только меня одну не брали из опасения, что из бельэтажа я буду раскланиваться с верхними ярусами. Я ценила, что брат воспитывает меня, и не решалась жаловаться ему. Случайно, без всякой задней мысли, рассказала о своем житье приятелю брата, Солодовникову,[2]) который заехал как то навестить меня. Должно быть Солодовникову стало меня жаль и он уговорил брата выписать маменьку, взять меня из пансиона и учить дома.

Не могу не рассказать о Солодовникове: это была очень интересная личность. Брат познакомился и близко сошелся с Солодовниковым, когда тот был еще бедным приказчиком у своего старшего брата, скопца. Известно, что его брат-сектант опоил его, когда ему было 15 лет, и оскопил. Он жаловался государю Николаю Павловичу, но государь бросил бумагу в камин на том основании, что старший Солодовников вел крупную торговлю с Англией, имел свои корабли и был, как тогда выражались, «Наполеоном по торговле». Погубить такого дельца из за одного человека было невыгодно. Братья Солодовниковы

[1]) Кн. Волконский Петр Михайлович (1776—1852), с 1826 г. министр двора.
[2]) Купец, впоследствии известный миллионер; о нем см. дальше.

ненавидели друг друга, и наш Николай Назарыч остался бы всю жизнь бедным, если бы его брат не умер скоропостижно ударом на бирже. Николай Назарыч сделался вдруг богачем. Он был веселого, открытого характера, хохотун и страстный театрал. По смерти брата своего он возымел желание сделать роскошную обстановку в доме В. В. Самойлова. Самойлов, как человек со вкусом, взялся сам орудовать этим и сильно нагрел Солодовникова. Помню, как покоробило Николая Назарыча и как он сам говорил, что ему не денег потраченных жалко, а грустно, что он в человеке разуверился и должен разойтись с ним. У Солодовникова бывали из театральных: Максимов, Мартынов, брат и др. Вспоминаю еще, как один из театральных, певец И. С., украл у Солодовникова бриллиантовый перстень, был уличен и выгнан. Эти случаи удручающе действовали на Н. Н., он становился недоверчив и скуп, разошелся со всеми, кроме моего брата, которого очень любил. Брат рассказывал: приезжает к нему Солодовников и говорит: «устал я сегодня, вот мозоли натер, отрезывая купоны. А ты, Николашенька, похвали меня, какой я умник. Просыпаюсь, брюхо мне говорит—хочу пирога с сигом.—Погоди, братец, разочтем прежде, что будет стоить. Сиг—столько то, вязига столько то, да мука, да яичек, да маслица—во что обойдется? Ан врешь, дружок, поедим супцу или щец,—так и отказался от пирога». Брат ничем от него не пользовался и не

позволял себя одолжать. Солодовников очень любил меня и насилу упросил брата позволить подарить мне дешевенькое кисейное платье. Зато в Москве, когда бывал, то полюбил нашу семью, дарил отца и сестру, которая была падка на подарки и брала их от всех с позволения мужа. Солодовников видел всюду поклонение своим миллионам, становился высокомерным и оттого между ним и братом часто происходили ссоры. Но Солодовников всегда первый возвращался потом к брату, потому что был, видимо, к нему привязан и без него скучал. Не знаю, кто подбил Солодовникова на постройку церкви на Валааме. Это было, когда я уже жила в Москве. Вероятно, брат. Сделали смету, Николай Назарыч согласился. Но потом, как повадилась к нему братия с просьбами о прибавках на постройку, он совсем обозлился, отшатнулся от брата и запил одиноко.

Вот этот то человек принял во мне участие и, благодаря ему, я навсегда покончила с пансионом г-жи Эттер, с немецкими блюдами и немецким языком, за неуспехи в котором меня постоянно оставляли без обеда. Из учителей никого не помню, кроме Кречетова, учителя русского языка, потому что он был знакомым Некрасова; последний говорил со мной о нем. Еще остался в памяти старичек учитель всеобщей истории. Помню, что мы ее проходили два раза, и я историю в зубрежку знала. Ему отказали за то, что он дальше древней истории не шел.

Приехала маменька из Москвы, и мы поселились с братом у Чернышева моста. Ко мне взяли двух учителей, студента для русского языка и истории—и француза, старика Шевалье. По русски я училась лениво и, помню, сильно радовалась, когда учитель манкировал уроками по случаю разведения мостов (он жил на Васильевском Острове). С Шевалье я любила заниматься. Это был чистенький старичек в коричневом фраке с бронзовыми пуговицами. Уроками и грамматикой меня не мучил, а все читал французские трагедии и меня заставлял декламировать Корнеля и Расина. При этом он сам воодушевлялся, становился в позу, декламировал с пафосом. Иногда брат заходил и заслушивался. Пению учил Вителярио и на арфе—Поль. Брату хотелось дать мне хорошее воспитание, но все это было не в коня корм: я уже давно начала влюбляться, и науки всякие мне были чистое наказание. К тому же у меня был плохой слух и потому мое музыкальное образование шло всегда плохо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Петербургская драматическая сцена 1840-х годов.—Режиссер Н. И. Куликов, А. М. Каратыгина, М. Д. Дюр, В. В. и Н. В. Самойловы, Шелихова, Линская, В. А. и П. А Каратыгины, А. Е. Мартынов, А. М. Максимов, П. Г. Григорьев. — Первый дебют в комедии Скриба «Брат и сестра». — Н. А. Некрасов.—Первые шаги на Петербургской сцене

Брат в то время занимал важный пост: он был самостоятельнейший режиссер и делал, что хотел. Хотя был над ним начальник Невахович[1]), инспектор репертуара, и директор Гедеонов, но они жили в балете, и драматическая труппа была предоставлена в полное распоряжение брата. Брата знали как человека неподкупной честности, тогда как кругом были взяточники и явные воры. На сцене он самодержавствовал: его все боялись, и большие и маленькие.

Мы с матерью часто бывали в театре. Петербургская драматическая труппа того времени (40-х годов) была небольшая, но талантливых актеров много.

Премьершей, впрочем больше за кулисами, была А. М. Каратыгина [2]). Она очень важно

[1]) Невахович Александр Львович, драматург.
[2]) Каратыгина Александра Мих. (1802—1880 г.), знаменитая в свое время драматическая артистка, тщательно изучавшая сценическое искусство.

себя держала, обращалась со всеми свысока и гордилась тем, что говорила по французски,— это считалось тогда верхом образования. Один раз ее французский язык попал очень некстати.

Государь Николай Павлович часто посещал театр, входил в антрактах за кулисы и разговаривал с актерами, чаще других с В. А. Каратыгиным [1]). А. М. очень любила вмешиваться в разговор. Вот раз во время представления какой то драмы государь обратился к Каратыгину и сказал, что пьеса растянута и скучна. Каратыгин был, говорят, недальнего мнения и мог только поддакивать государю и кланяться. Тут как раз подвернулась А. М. и, на правах жены, брякнула ни с того ни с сего:

— Vous croyez?

— Да, я думаю,—ответил государь по русски и отвернулся.

А. М. Каратыгина была удивительно хороша и естественна в комедиях. Я помню ее лучшие роли: «L'Intruse», «Наука и женщины», «Первая морщинка» и другие.

Но в драме, в трагедии и в жизни она все как то пела или завывала. Она отличалась безвкусием и скупа была до нелепости. Играя, например, Наталью Дмитриевну в «Горе от ума», она надевала цветы, как тогда говорили, снятые

[1]) Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853 г.), знаменитый трагический актер „высокого стиля“.

с кулис. Странные у нее были понятия о ролях. Ставили как то комедию из светской жизни: «Прихоть кокетки», Каратыгина должна была исполнять роль пожилой графини, притворщицы и интриганки, которую в конце пьесы выводят на свежую воду.

Я сама читала письмо А. М. по этому поводу к моему брату.

«Милостивый государь, Н. И., вы, вероятно, забыли, что я играю роли только честных женщин (подчеркнуто) и потому возвращаю эту, присланную мне, вероятно, по ошибке. А. К».

Роль перешла к милейшей и добрейшей М. Д. Дюр. Она была очень красива и представительна, играла роли драматических героинь, но не очень была талантлива и на редкость необразована, так как воспитывалась в театральной школе. Кукольник [1]) однажды сказал ей, что написал для нее отличную роль в драме «Гаррик», где она будет танцовать качучу. Она потом с восторгом рассказывала в театре, что будет играть в пьесе «Рюрик» и танцовать качучу.

Припоминаю столкновения моего брата с Самойловыми. В. В. Самойлова выкинула такой же пассаж, как Каратыгина: она отказалась от роли Софьи Павловны в «Горе от ума», считая ее неприличной за ночные беседы с Молчалиным. Брат насилу уломал ее силой своей власти,

[1]) Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868 г.), известный в свое время писатель, автор ряда напыщенных пьес.

говоря, что ей будет то же, что и сестре ее Н. В.: та ему в чем то не угодила и целый год играла одну роль Машеньки в булочной. Вера В. должна была покориться, и роль С. П. впоследствии была одной из лучших в ее репертуаре. Она была холодна, но очень красива и представительна.

В то время нельзя было попасть в гении: она играла и маленькие роли, много практиковалась, и из нее вышла великолепная актриса для комедий. К сожалению, репертуар тогда был преимущественно трагический и переводный и было мало ролей.

Н. В. Самойлова дебютировала с большим успехом в водевиле «Матушкина дочка». Черты ее лица были очень некрасивы, но это скоро забывалось: так много в ней было огня, прекрасные глаза и восхитительный голос.

Сестры Самойловы внесли на сцену уменье одеваться со вкусом, этим они были обязаны своей старшей сестре Любови Васильевне, которая была художницей, человеком образованным, с необыкновенно тонким вкусом и великолепно рисовала. Они же внесли в закулисный мир дух приличия, благовоспитанности и недоступности. В каких ролях нужно было обниматься и целоваться с молодым человеком, они просили, чтобы роль молодого человека назначали их брату Владимиру.

И ругался же он ужасно за это: уж очень он ролей учить не любил. Бывало, пропускает, го-

ворит из пятого в десятое: с ним постоянно надо было быть настороже, вернуть назад, пустить вперед, а то хоть занавес закрывай или уходи со сцены. Я впоследствии на себе это испытала. Он играл вторых любовников и, обладая прекрасным голосом, имел успех в водевилях с переодеванием.

Надежда Васильевна Самойлова сразу стала соперничать с Асенковой [1]), которая была гораздо талантливее ее. К Асенковой, как я помню, все относились с любовью, это было беспристрастное, доброе создание. У нее запросто собиралось много молодежи. Самойловы вели семейную замкнутую жизнь и, как нравственные девицы, относились к Асенковой добродетельно ехидно (я говорю о Надежде и Любови, Вера еще не служила). Много сплетничали, стараясь выставить ее, как особу легкого поведения. Например, спросят: «Варенька, у вас новенькое колечко, кто вам подарил?» Она отвечает просто: «такой то». И пойдут за глаза осуждать, дудить всем в уши, что подарков брать нельзя, что мужчины даром не дарят. Я это запомнила потому, что как то раз при мне брат выругал Самойловых за то, что они все разузнают, выспросят у Асенковой, а потом и пойдут ее осуждать.

Такая завелась у нас ехидно добродетельная мораль, что дело дошло до инквизиции, иначе

[1]) Асенкова Варвара Николаевна (1817—1841 г.), талантливая артистка, пользовавшаяся большими симпатиями публики. Ее памяти Некрасов посвятил стихотворение.

я не знаю как назвать нижеследующий факт. Бывали у нас маменьки и старшие сестрицы, которые сами устраивали своих дочерей и сестер, прямо из школы, на готовые квартиры с адюльтером. Так устроились две молоденькие актрисы, и обе сделались матерями. Как девушки, они скрывали по мере возможности свое положение, но пришло время, когда дальше скрывать уже было нельзя. Тогда им придумали такую казнь. Обеих заставили играть в пьесе: «Новички в любви», где две девочки в коротеньких белых платьицах и панталончиках, как тогда одевали детей,—и в локончиках, высказывают желание выйти скорее замуж, плачут, топают ножками.

Помню, брат повез меня на это представление, чтобы внушить отвращение к пороку. Мне было 12 лет. Это было ужасное представление—фигуры девочек на 7-м или 8-м месяце беременности. Все их наивные слова принимались публикой с каким то злорадным хохотом. Что они, бедные, должны были испытывать? Одна из них была очень талантлива, и ее так и стерли с лица земли, т. е. со сцены, и она сошла на нет.

Подобные факты теперь немыслимы. Это ли не инквизиция? А рядом с этим высокопоставленным любовницам оказывали почет. Внутри театрального мира только и были заняты сохранением условной нравственности, другого интереса и разговора не было, а вне его боль-

шинство было «с поведением». Люди действительно добродетельные держались в стороне.

Такова талантливейшая Линская [1]), тогда еще мало заметная, потому что еще не нашедшая своего амплуа старух. Вспоминаю еще Машеньку Шелихову, впоследствии жену Мартынова, вскоре, впрочем, оставившую сцену по очень смешному случаю. Предполагался к постановке прехорошенький водевиль с пением Писарева [2]): «Учитель и ученик». Щелиховой назначили роль девушки, которая была в тайной связи с учеником.

Родители возмутились, что их дочери дали роль безнравственной девицы, хотя в самой роли ничего нескромного не было. Папа Шелихов разлетелся на репетицию, наговорил при всех дерзостей главному режиссеру; тот молча и спокойно его выслушал и подал рапорт о взыскании штрафа за дерзкие выражения. Кончилось тем, что Шелихову сейчас же взяли со сцены.

Директор отнесся равнодушно: Шелихова была не из красивых. Режиссер уговорил взять роль Н. В. Самойлову с условием на афише напечатать против действующих лиц: «тайно обвенчанная», и вышло комильфотно. Впоследствии Шелихов-отец укорял брата: «Не грех бы вам, Николай Иванович, для дочери моей то же в афише поставить».

[1]) Линская Юлия Николаевна (ум. в 1871 г.), крупная комическая актриса.

[2]) Писарев Александр Иванович (1803—1828 г.), автор множества водевилей.

Сестра явилась в первый раз играть в Петербург и имела большой успех. Муж ее играл свою лучшую роль Скалозуба. Без истории, конечно, не обошлось. Переписка шла через брата, и они как то не договорились. Орловы хотели полный бенефис, а им выдали полбенефиса. Они обиделись и не взяли ничего. Это положило начало их неприязненным отношениям с Гедеоновым, который впоследствии сделался директором московского театра.

Перехожу к мужскому персоналу.

Преобладавший трагический репертуар выдвинул В. А. Каратыгина. Как я ни была молода, но, кроме 2-х ролей—Людовика XI и Велизария, он мне ни в чем не нравился: кричал, неистовствовал, даже публику приучил к крику. В Гамлете, Чацком, даже в Карле Мооре он производил неприятное впечатление. Один раз, не помню в какой пьесе, публика была холодна. Каратыгин при мне сказал за кулисами: «Что они там спят? Надо разбудить их», и следущий акт так орал, что публика встрепенулась.

Главные его поклонники были лисьи шубы, т. е. публика в лисах, сидевшая на местах за креслами. Он, как и жена его, держал себя гордо, с артистами знакомства не водил и своего звания актерского стыдился. Когда Каратыгины уезжали за границу, в газетах печаталось об отъезде не актера Каратыгина, а коллежского регистратора Каратыгина с супругой. Брат

Каратыгина, П. А.[1]) играл сначала любовников. Он был очень красив, высокого роста, с прекрасными голубыми глазами. Черный фрак и голубая лента через плечо очень шли к нему. Потом он перешел на роли комиков. В то время комические роли считались самыми легкими: это называлось «дураков представлять». Он бранил Гоголя и называл его грязным писателем. Припоминаю здесь одну беседу с ним, происшедшую уже много позднее. Кстати скажу, что П. А. писал и переводил пьесы и был так остроумен, что его каламбуры ходили по городу. Мы, молодые, считали его за самого образованного из всей театральной братии.

Так вот однажды, во время антракта, он берет меня под руку, подводит к одной декорации (сцена представляла сельский пейзаж) и спрашивает:

— Что это изображает?

— Навоз,—отвечаю.

— И вы не плачете?

— О чем?

— Это не напоминает вам вашего Гоголя?

И прочел целую диссертацию на тему о том, что сцена должна воспроизводить только изящное. Очень умно говорил, я не умела бы ему прекословить. Даже Мартынов говорил:

[1]) Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879), брат трагика, актер-комик, автор множества водевилей и интересных театральных воспоминаний.

— Как я мог не верить ему? Я соглашался с его суждениями, а на сцене инстинктивно исполнял дело Гоголя.

Это мне передал потом Островский.

А. Е. Мартынова я видала вскоре по приезде в Петербург у Воронцова, он ходил к нему занимать деньги.

Мартынов был совсем еще молодой человек, не особенно красивый, но очень симпатичный, с выразительными большими серыми глазами, стройный и очень ловкий. Воспитывался он в театральной школе и готовился в балет. Почему он перешел в драму,—не знаю, но в это время он уже пользовался известностью и считался первым сюжетом на комическое амплуа.

Своим актерским жалованьем Мартынов содержал большую семью (отца, мать, брата и двух сестер) и отдавал ей весь свой заработок. Жили они очень бедно.

У нас дома рассказывали, что как то, собравшись с силами, Мартынов соорудил себе новую пару платья, лежала она на стуле, прикрытая платочком, значит, и комода не было. Отцу его понадобились деньги, он взял платье и потихоньку от сына заложил его.

Когда Ал. Ев. узнал об этом, он вскипел гневом. От природы он был деликатный и кроткий, но тут вспылил и наговорил отцу дерзостей. Тот повел его на съезжую высечь за непочтение к родителю. Там уж квартальный сам стал усовещевать отца.

— Что ты делаешь, безумный? Ведь, это твой кормилец, поилец. И тебе не жалко срамить его?

Как они уж там поладили —только Мартынова не высекли. В это время актер-комик не имел такого высокого значения, как теперь. Поговаривали: «Эка невидаль, дураков то играть! Это легко!»

К тому же Мартынов был неразговорчив и скромен, а потому в закулисном мире его считали за дурака и звали Мартышей или Тупорылом. В это время благодетельная дирекция положила актерам разовые. Сколько получали прочие, я не знаю, а Максимову и Мартынову дали по 1 р. 50 к.

Для водевиля Скриба [1]) «Женщина» нужна была живая кошка на сцену, за нее тоже платили 1 р. 50 к. Над Мартыновым смеялись: «Какой же ты актер? Наравне с кошкой получаешь!» И трепали же бедного Мартынова на пустяки! Он в один вечер играет, бывало, в 6 дурацких водевилях, что можно удостоверить афишами 40-х годов. Или написали для него водевиль (названия не помню), в котором Мартынов, загримированный толстым стариком, проваливается в садовую кадку, причем наружу остается одна голова, и поет в таком положенин арию отрубленной головы из «Руслана и Людмилы», которую в настоящей опере пели 40 хористов. Он один должен был орать, что

Скриб (1791—1861 г.), известный французский драматург.

есть силы, а сила тогда еще не была потеряна, и публика в восторге, что он так надсаживается.

Пил он тогда горькую и от театральной бестолковщины и от семейных неприятностей. Это не мешало ему, однако, совершенно бессознательно создавать типичные роли. Помню, шел водевиль «Гуляки в Полюстрове», Мартынова привезли в театр в бессознательном состоянии. Роли он в глаза не видел. Когда его вытрезвили, он приказал себе подать только трубку и велел суфлеру не торопясь подсказывать роль, а сам в это время покуривал. Вышло естественно, натурально, и тип чиновника, которого он должен был играть, получился великолепный.

Раз мой брат (главный режиссер) дал ему в свой бенефис драматическую роль и говорил:

— Как то Мартыша справится? Боюсь, что публика будет смеяться.

Так и вышло.

Он играл театрального ламповщика, сестра которого, актриса, умирает на сцене, играя роль Корделии. Я видела отчаяние Мартынова, видела настоящие слезы на его лице. Но наша дикая публика хохотала, потому что не привыкла видеть комика в драматическом положении. Мне было бесконечно жаль Мартынова и досадно на публику.

Насмехались над ним постоянно и товарищи, хотя и любили его. Удалось Мартынову еще

сыграть драматическую роль Кащея в пьесе того же названия и произвести полный фурор. Публика была в восторге, эффект страшный. По окончании пьесы П. И. Григорьев[1]) при мне выговаривал ему:

— Что у тебя за страсть, Саша, лезть куда не надо и браться за чужие роли? Ведь сама судьба назначила тебе дураков играть, ну и довольствуйся этим.

Мартынов по обыкновению мнется на месте, улыбается и что то мычит. Что он мог ответить старшему артисту, который был его же учителем на школьной сцене?

Я в жизни не встречала более скромного человека! Его, кажется, вполне можно было уверить, что он дрянь. Он был всегда серьезен, как будто задумывался о чем то, и я не помню его ни разговорчивым, ни смеющимся. Кругом говорили: «Посмотрите, какое глупое лицо». И это без всякой едкости, а просто таковы были милые шутки того времени. В глазах дирекции Мартынов тоже особенной роли не играл.

Мне кажется, Мартынов никогда не имел бы серьезного значения, если бы не появилась оригинальная русская драма. Но вот в 50-х годах повеяло новое веяние, воспрянула литература, и Мартынов попал на должный пьеде-

[1]) Григорьев Петр Иванович (1806—1871 г.), актер и автор множества водевилей (в том числе популярных в свое время: „Макар Алексеевич Губкин“ и „Дочь русского актера“).

стал. Явилась у нас развитая молодежь, — Чернышев[1]) написал «Отец семейства», «Не в деньгах счастье». Явился Потехин[2])с пьесой «Чужое добро в прок не идет». Тут только публика поверила в талант Мартынова и оценила его. Но больше всего поднял Мартынова в глазах общественного мнения Тургенев, который проездом в Петербург видел его в какой то драматической роли. Тургенев пришел в уборную благодарить его. С этих пор вся литература и, конечно, публика смотрели на Мартынова, как на первое светило. У него стали собираться литераторы и самое образованное общество того времени.

Он сам нравственно воскрес, талант его развернулся вполне, он был наверху своей славы. Оклад стал получать очень хороший по тому времени, 35 р. разовых, и получил разрешение играть без очереди. По этому поводу Мартынов сам говорил:

— Еслиб не Вася (Самойлов), разве бы я посмел просить прибавку?

Имея семью на руках, так бы и умер на старом содержании.

Но здоровье его уже было загублено, чахотка подкрадывалась к нему и он заметно угасал. Семейная жизнь и долги от безалаберного ведения хозяйства убивали его. Перед начальством

[1]) Чернышев Иван Егорович (1833—1863 г.), актер и писатель.
[2]) Потехин Алексей Антипович (1829—1908), известный писатель.

он по прежнему робел и был забит, как и многие в те жестокие времена.

— Я его боюсь (начальство). Для публики я, может быть, и большой человек, а перед ним я маленький.

Он не переставал пить, наконец опасно заболел и на лето уехал за границу. Зимой Мартынов снова появился в «Кречинском». Подобного грима я в жизни не видывала! Такой стон стоял в театре, что я должна была выйти из ложи, со мной сделалась истерика. Эту зиму и начальство стало к нему относиться с уважением, словно на краю могилы сжалились над ним: ему предоставлено было право играть водевили когда угодно. Но ему было необходимо играть как можно чаще, что бы брать свои 35-рублевки. Один спектакль он играл сильную роль, другой для отдыха—водевильчик. Нуждался Мартынов всю жизнь, зарабатывал он много, а все не доставало. Семья состояла уже из 5-ти человек, а детей своих он обожал. Летом, вместо того чтобы отдохнуть, опять поехать за границу, он отправился играть в провинцию.

Последний раз я видела его в Москве. Он приехал полубольной, делал сборы и публика как бы чувствовала, что в последний раз любуется им.

Не могу забыть его игры в пьесе «Чужое добро в прок не идет». Роль большая, сильная. К концу он так ослабел, что в последней сцене с топором только размахивал им и не мог из-

дать никакого звука; легких почти уже не было. И этот то угасающий труженик ехал зарабатывать деньги для своей семьи.

Покончив условленные представления, Мартынов на один день съездил в Петербург взглянуть на нежно любимых им детей.

Потом уехал с Островским в провинцию, где и покончил свое земное поприще. Тело его везли в Петербург через Москву. Всю дорогу от Харькова до Москвы гроб ехал на дрогах, покрытый черным покрывалом с нашитым крестом. В Курске, Орле выходили артисты, уже знавшие о его кончине, служили по нем панихиды. Когда только везли через Москву, артисты устроили панихиды в Донском монастыре. Балдахин и гроб были убраны цветами. На другой день после заупокойной обедни мы проводили его до железной дороги, а я поехала с телом в Петербург.

Привезли его туда уже поздно вечером, когда было совсем темно. Кроме артистов, народу было множество, всех сословий. Когда процессия вышла на Невский, в толпе послышался какой то гул. Хотелось кричать, но что? Слышались только возгласы: «честь и слава! честь и слава!» На другой день во время похорон что было! Не мне это описать! Нести гроб по тяжести от церкви Знамения до Смоленского кладбища было невозможно, поставили на колесницу. Тогда выпрягли лошадей и колесницу повез сам народ. При мне актер Зуб-

ров [1]) обратился к одному простолюдину, прося его пустить к колеснице, говоря, что он уже довольно потрудился от самой церкви. А это уже было далеко от церкви. Тот ответил: «от церкви и до могилы не уступлю своего места». Если попадались люди, ехавшие навстречу или с боковых улиц, кто бы они ни были, молодежь кричала: «Шапку долой! Мартынова везут! Генерал, шапку долой, Мартынова везут!» Мартынов, в жизни робкий, забитый, теперь царил над толпой. На кладбище, когда опускали в могилу гроб его, было общее рыдание.

Мартынов скончался в 1861 году.

Из артистов Петербургской труппы 40-х годов помяну еще первого jeune premier А. М. Максимова [2]). Это был необыкновенно худощавый человек, с прекрасными голубыми глазами, римским носом, сильными голосовыми средствами и заразительной веселостью в водевилях. Он был добрейший человек, которого все любили, особенно гвардейцы, с которыми он покучивал до чортиков. Помню, при мне он рассказывал: лежит он раз в постели больной после сильного кутежа в полном сознании и не спит и видит, как из всех щелей лезут маленькие чортики. Впоследствии он сделался очень богомольным, любил частенько ездить в Деревеницкий монастырь, где и похоронен. Ездил он туда с не-

[1]) Зубров Петр Иванович (1822—1873).

[2]) Максимов Алексей Михайлович (1813—1861), известный артист.

сколькими ящиками вина и поил монахов. Выстроит их в шеренгу и командует ими. Его там обожали. Разумеется, и денег там давалось много.

Всегда он оставался весел и добродушен: придет, пошумит, поболтает, рассмешит. Бывало, играя новую роль, дрожишь перед выходом. Он успокаивает таким образом: «Полноте, голубчик, чего бояться? Кого? Помните, что перед вами огород с капустой. И не робейте». В последний раз я его видела во время похорон Мартынова. Он уже был тогда совсем болен и не выезжал из дому. Теплая, хорошая была душа!

П. Г. Григорьев [1]) владел неподражаемо купеческим жаргоном. Представляя купцов в карикатурном виде, Григорьев позволял себе разные разговоры на злобы дня. Публика, ради его импровизаций, осаждала театр. Государь Николай Павлович тоже часто смотрел водевиль «Ложа 1-го яруса», в котором Григорьев имел наибольший успех. Один раз Григорьев увлекся; не помню, сидел ли на гауптвахте или получил только нахлобучку.

В то время отстроен был Зимний дворец после пожара. Постройка произведена была быстро, в награду даны серебряные медали строителям, всем до последнего рабочего. В этот вечер П. Г. появился на сцене в сибирке и с медалью. Рассказывая, острил, по обыкновению,

[1]) Григорьев II Петр Григорьевич (ум. в 1854 г.), актер и автор множества водевилей. Был известен, как комический импровизатор.

наконец собеседник спрашивает его: «А позвольте узнать, за что это вы медаль получили?» — «А это нас наградили за то, что мы мусор из Зимнего дворца вывозили». Ему приказано было заметить, чтоб он вперед говорил, но не заговаривался. Когда появился Островский, Григорьев успел сыграть только одну серьезную роль Русакова в комедии «Не в свои сани не садись» и отошел в вечность.

Припоминаю еще по поводу постановки «Женитьбы» Гоголя супругов Сосницких. Он имел аристократические манеры и был прекрасен в ролях старых бар, но Кочкарева сыграл очень плохо. Его жена играла невесту, говорила жеманным тоном. Вся пьеса показалась очень скучной и провалилась в первое представление. Я не узнала ее, когда увидала в Москве: точно пьесу с иностранной сцены пересадили на родную.

Я попала на сцену как будто невзначай. Как то раз брат пришел во время урока французского языка и дал мне докончить перевод комедии Скриба «Брат и сестра», начатый П. С. Федоровым [1]) и неоконченный им по болезни. При этом брат обещал в награду дать мне в этой пьесе маленькую роль. Мне было в то время 15 лет. Я перевела и получила роль Фанни, очень резвой девушки. Все боялись, что я оробею,, в особенности Солодовников. Он до того

[1]) Федоров Павел Степанович (1803—1879), драматург и театральный деятель.

разошелся, что вынул свои золотые часы, — он носил маленькие—сказал: «Если ты не оробеешь, эти часы твои».

Брат тоже побаивался, вероятно, судя по себе: он был красивый и талантливый и вышел бы наверно недурной актер, но на сцене ужасно робел и терялся. Поднялся занавес. Я сидела уж на сцене и начинала пьесу совершенно спокойно, разговаривая, как дома. Роль моя состояла в том, что я пикировалась со старшей сестрой, которую играла Гринева. Выходило у меня очень живо и бойко. В афишах не стояло никакого дебюта, а просто значилось: «девица Куликова». Потом рассказывали, что я произвела впечатление своей простотой, резвостью и непринужденностью. Похвалам не была конца. По окончании пьесы Федоров (впоследствии директор театральной школы и заведующий репертуаром), как переводчик пьесы, принес мне конфект, а Солодовников воскликнул: «Часы то придется, видно, отдать!» Присутствовавший при этом актер П. И. Григорьев сказал на это: «Да разве с такими можно держать пари? В 15 лет еще не понимают артистической работы»... Перед этим выходом на сцену я все говорила брату, что меня будут ругать в газетах, так как знала, что брат со всеми в ссоре; тогда он разошелся с Краевским и Панаевым [1]), а Белинского постоянно

[1]) Краевский Андрей Александрович (1810—1889), известный журналист.—Панаев Иван Иванович (1812—1862), видный писатель и журнальный деятель.

ругал. Вдруг читаю,—не помню, в «Литературной газете» или в «Литературных прибавлениях», чудесный отзыв, в котором выражалась надежда, что я со временем буду Асенковой (знаменитая актриса 30-х годов). Я даже заплакала от радости. Оказалось, писал Некрасов. Стыдно вспомнить: когда брат спросил меня: «знаешь ли, кто про тебя написал?» и указал на Некрасова, сидевшего тут же и глядевшего на меня ласковыми глазами, я сделала кислую мину и протянула: «Ну?»... Я была разочарована и считала себя обиженной, что про меня писало такое ничтожество.

Николай Алексеевич Некрасов в то время бывал у нас нередко. Брат давал ему работу, перевод и переделку пьес. Он писал еще под фамилией Перепельского. Помню, по поручению брата, он переводил «Материнское благословение», при чем пьесу ему пришлось переделывать, так как одна из сестер была кокетка, чего по тем временам не полагалось. Некрасову тогда плохо приходилось. За стихи платили мало, да и выходили истории из за них. Так, после известной колыбельной песни его призвал к себе Дубельт, тот самый благодетельный старичок, о котором я уже упоминала, и много кричал, как Некрасов смеет нападать на чиновников и на дворян. Некрасов приходил к брату и сам рассказывал.

Мне горько и стыдно вспомнить, что мы с маменькой прозвали его «несчастным».

— Кто там пришел? — бывало спросит маменька, — несчастный? — И потом обратится к нему.

— Небось, есть хотите?

— Позвольте.

— Акулина, подай ему, что от обеда осталось.

Особенно жалким выглядел Некрасов в холодное время. Очень бледен, одет плохо, все как то дрожал и пожимался. Руки у него были голые, красные, белья не было видно, но шею обертывал он красным вязаным шарфом, очень изорванным.

Раз я имела нахальство спросить его:

— Вы зачем такой рваный шарф надели?

Он окинул меня сердитым взглядом и резко ответил:

— Этот шарф вязала моя мать.

Я сконфузилась. Потом он исчез от нас и больше в жизни я с ним не встречалась. Брат говаривал, что Некрасов забыл нашу хлеб-соль. Но от такого гостеприимства подавиться можно.

Кроме Некрасова, бывало у брата много известностей того времени: Полевой, Кукольник, Ободовский, Висковатов, Марков, Федоров, Зотов и генерал Скобелев [1]) (дед известного героя). О последнем считаю нужным сказать несколько

[1]) Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), известный писатель, историк, критик и драматург.—Трудно сказать о каком Висковатове идет речь.—Зотов Рафаил Михайлович (1795—1871), беллетрист и драматург.—Скобелев Иван Никитич (1778—1849), генерал и военный писатель.

слов. Он был из крестьян, не сдаточник, в 12-м году отличился, лишился руки и произведен в офицеры. В мое время он был комендантом Петропавловской крепости, писал патриотические пьесы и потому вел знакомство с литераторами. Известно, что, встретившись как то с Белинским, он сказал: «скоро ли к нам, я для вас тепленький каземат приготовил».

Из этого времени расскажу еще случай довольно курьезный. Приезжал в Петербург А. Н. Верстовский с женой, бывшей артисткой Репиной. Брат делал для них большой вечер, были артисты и литераторы. Был приглашен Кариолин-Пинский, уже сенатор со звездой. Брат по должности уехал не надолго в театр (был спектакль), гостей принимала Репина, и все почти были знакомы, если не лично, то по именам: Над. В. никого друг другу не представляла. Тут и вышло легкое недоразумение. По какому то поводу Пинский, восседавший на почетном месте, выразился так: «Я всегда говорил и повторяю, что генерал Скобелев, чиновник Зогов и купец Полевой ничего порядочного не напишут». Так всех точно бомбой пристукнуло: Полевой и Зотов сидели тут же. Когда вернулся брат, Пинский узнал свою оплошность и сейчас же уехал. Зотова брат успокоил тем, что Пинский говорил не о нем, а о его папеньке. А добрейший Ник. Алекс., уж не знаю как, проглотил свою пилюлю.

Все знакомые брата после первого моего спектакля («Брат и сестра») стали советовать ему отдать меня на сцену. Брат согласился и дал мне для второго дебюта «Парашу Сибирячку». В это время были в Петербурге Репина с Верстовским. Она и брат проходили со мной роль. Брат меня сильно муштровал, сердился и кричал. Я ничего не сознавала и играла, как во сне. Помню только, что после первого акта, где происходит немое прощание с родителями, Гедеонов пришел в уборную весь в слезах, целовал меня, хвалил, и я была тут же зачислена на сцену за 200 р. серебром, — в то время очень хорошее содержание. Это было 16-го февраля 1843 года.

За Парашу меня не хвалили и не бранили, но общее мнение было таково, что рост у меня маленький, что в драму меня выпускать не следует. Тогда считалось, что для драмы нужна актриса высокого роста и с крупными глазами, чтобы сразу видно было, что драматическая. Брат же, видимо, сознавал, что дал мне роль не под силу, хотя по внешности она и подходила. Брат не понимал моего дарования—говорить на сцене просто и естественно, как дома. Он особенно хлопотал, чтобы я пела. Голосок же у меня был маленький, к тому же я страдала от недостатка слуха и потому страшно робела, когда мне доставалась роль с пением.

К тому же во все мое первое пребывание на петербургской сцене я ничего не слыхала о теа-

тральном искусстве. Правда, возили меня учиться некоторым ролям к Сосницкому. Он был современник М. С. Щепкина, но далек от него в понимании и отношении к драматическому искусству! Сосницкий учил с голоса, а я на это была бестолкова, благодаря своему плохому слуху. Бывало, Машенька Шелихова, с которой мы у него вместе учились, сейчас повторит фразку в его тон, а я все по своему. И он очень сердился на меня за мою непонятливость. Учила еще А. М. Каратыгина, спасибо ей, она запрещала во время репетиций иметь в руках что нибудь: ни носового платка, ни перчатки. По непривычке к сцене, главное затруднение состоит в том, что не знаешь, куда руки девать, и стараешься что нибудь иметь в руках.

Брат говорил мне только:

— Получив новую роль, ищи, где эффектное место, на него и напирай. Когда говоришь о любви, смотри в кресло на одного: кто бы он ни был,—с ума сойдет!

Впрочем, брат и маменька мало обращали внимания на мои сценические дела, все боялись за сердечные. За мной ухаживали, и маменька всегда была в волнении, если я разговаривала с мужчиной, а брат прямо преследовал за мою веселость и охоту болтать с актерами. Припомню такой случай: как то я играла с актером Смирновым в пьесе «Правда—лучший друг царю». На сцене говорят, что царь Петр едет. Смирнов с энтузиазмом бросается на сцену и

восклицает: «Я увижу Петра!» А я ни с того ни с сего брякнула: «Эк, обрадовался!» Да так громко, что в задних рядах было слышно. Когда опустили занавес, брат пришел на сцену и при всех отщелкал меня по носу. Мне было тогда 16 лет, я пикнуть не смела в ответ, но любовь к брату с того дня как будто исчезла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Перевод на московскую сцену. — Первый дебют 18-го августа 1845 г. — Московский Малый театр 1840 годов: М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, И. В. Самарин, П. М. Садовский, Л. Л. Леонидов, А. О. Бантышев, В. И. Живокини, Д. Т. Ленский, П. И. Орлова. — Выход ее из труппы.—Театральные порядки.

В 1844 г. брат женился на московской актрисе Сабуровой, дочери талантливого А. М. Сабурова. Она дебютировала в Петербурге, особенного успела не имела и скоро оставила сцену, посвятив себя семейной жизни.

Маменька уехала в Москву. С невесткой я не сошлась, и мои отношения с братом сильно изменились. Жизнь у него стала тягостной.

Не знаю, жаловалась ли я в Москву, но стали поговаривать, чтобы меня отправить туда. К тому же играла я в то время мало, ролей хороших не давали, и я была в загоне. Театром я не интересовалась, а роли учить ленилась. Написал для меня Чернышев «Барышня на Черной речке», но должно быть ерунда: я ее совсем не помню, хотя много хлопали и принимали хорошо. Брат меня бранил за эту роль, говорил, что я не умела ее исполнить, как надо.

На петербургской сцене мне положительно нечего было делать, но Гедеонов и слышать не хотел о моем переводе. Он вызвал меня к себе и, имея в виду мое счастье, стал уговаривать итти на содержание к К. В. Дубельту. Я сказала, что не желаю. Тогда, смеясь и шутя, он предложил итти на содержание к нему. Я отказалась и настаивала на отъезде, тем более, что и папенька за мной приехал. Тогда брат пустился на хитрость. Один раз я сидела в ложе с невесткой и Владимиром Зотовым [1]) (моим поклонником) и весь вечер болтала и смеялась с ним. Я видела, как брат вошел в директорскую ложу против нас и говорил ему что то, указывая на нас. На другой день брат объявил, что Гедеонов отпускает меня в Москву. Оказывается, брат уверил Геденова, что я влюблена в Зотова и хочу итти за него замуж. Гедеонов нашел, что замуж мне еще рано и отпустил (от греха)! Мы с папенькой покатили в мальпосте.

Приехала я в Москву к сестре и у нее поселилась. Родители жили отдельно в маленькой квартирке с бедной обстановкой на Сретенке у Троицы на Листах, в доме просвирни. Нельзя умолчать об оригинальном священнике этого прихода. Приход из лучших, кругом торговый люд. Священник, женатый на сестре митрополита Филарета, был необыкновенный самодур.

[1]) Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896), плодовитый писатель, журналист и драматург.

Филарет грозил отнять у него приход и сослать в бедное село. «Ссылай, мне что? твоя же сестра будет в лаптях ходить». Подобных анекдотов про него ходило пропасть. При мне было, что он всенощную начал, вместо шести часов, в девять. Когда Филарет выезжал от себя с Троицкого подворья, в церквах, мимо которых он ехал, должны были звонить в колокола. Преосвященный заметил, что у Троицы на Листах не звонили, прислал спросить: отчего? Священник послал такой ответ: «Скажи, что у меня дьячок звонить не умеет». — «Так скажи, чтоб выучил», снова приказывает Филарет. Вдруг в один прекрасный день ни с того ни с сего звон у Троицы на Листах. Филарет присылает спросить, что это значит? — «Скажите, что учу дьячка звонить, сам же велел». И все это сходило ему с рук, как зятю св. отца. Маменька пришла к нему на исповедь великим постом. Известно, с каким страхом и трепетом приступают к такому таинству. «А где говела прошлый год?» — «В Петербурге, батюшка». — «Ну и ступай опять туда, а я не стану исповедовать». Насилу маменька со слезами умолила его, чтобы не прогонял ее. Во время причастия: «приобщается раба... Агафья, старого дьякона кухарка». Хохот в церкви.

Дебютировала я 18-го августа 1845 г. в комедии «Вечная любовь». Второй дебют «Женатый проказник» и «Новички в любви», обе, конечно, с французского. Успех был полный. Сцена

московского Малого театра подходила к моим средствам, и я была на верху блаженства.

Гедеонов был в то время в Москве и тотчас дал мне прибавку в 100 р. Я стала получать 300 р.—1050 р. на ассигнации. Мои театральные дела пошли очень хорошо: играла я много, без всякого труда и пользовалась большим успехом, особенно среди студентов. Бывало, за роль Лизы в «Горе от ума» вызывают без конца, наравне со Щепкиным. Верстовский махнет из ложи, чтобы начинал оркестр. А студенты пуще стулья ломают. Впечатления молодости сильны и не всегда справедливы.

Из московской труппы того времени с чувством горячей благодарности и глубокого уважения вспоминаю я Михаила Семеновича Щепкина. Если есть во мне что хорошего, я всем обязана ему, его прямому, честному взгляду на жизнь.

В его дом я попала еще девочкой лет 7—8, в конце 30-х годов, и постоянно гостила в его семье. Из детских воспоминаний осталось у меня: его собственный дом у Спаса на Песках на Садовой, с большим двором и садом; огромная семья, состоявшая из старушки матери, жены, семерых детей, трех сестер (одна из них вдова с взрослой дочерью) и брата, недавно умершего. Кроме родни, у него жили: вдова актера Барсова, которому Щепкин считал себя обязанным своей сценической карьерой,—пять человек детей Барсова, бедная девица Татьяна

Михайловна Оралова, парикмахер Пантелей Иванович [1]), вывезенный Мих. Сем. с его стороны, и какой то параличный старичок, который имел особую комнату и несколько лет не вставал с постели. Не помню по имени и кто он был такой. На мой детский вопрос, за что за ним так ухаживают, получила в ответ, что он всех детей грамоте даром учил. В последнее время у Мих. Сем. имела приют Мар. Степан. Мочалова-Францнева, сестра Павла Степановича, бывшая трагическая актриса. Я ее на сцене уж не застала: она рано оставила сцену и вышла замуж. Это была седая старушка, высокого роста, с большими черными глазами. Портрет ее в молодости работы Тропинина [2]) находится в Третьяковской галлерее. Дом был полон жизни. За стол садилось каждодневно не менее двадцати человек; постоянно были посторонние. Иногда по вечерам сам М. С. играл с детьми в бабки. В то время не принято было жить на даче; поэтому летом часто составлялись поездки с кушаньем и самоваром по окрестностям Москвы. Молодежь пешком, а старушки и мы, ребятки, в коляске. Больше одной коляски не помню: уж очень запечатлелось в памяти идущее пешком целое народонаселение. Хорошо было, весело, просто!

Не могу без умиления вспомнить, как бывало за мной приходила добрейшая Татьяна Михай-

[1]) Театральный парикмахер, страдавший запоем. Он послужил Островскому прототипом для Любима Торцова.

[2]) Тропинин Василий Андреевич (1780 — 1857), известный художник, по происхождению крепостной крестьянин.

ловна; зимой с дровнишками, а летом с небольшой ручной тележкой, в которой белье возят полоскать на речку. Посадит в эти милые экипажи, да так и везет по стогнам столицы, с Петровского бульвара к Спасу на Пески. Мыслима ли эта простота в наше время? На извозчиков тратить считалось лишним расходом. В семье Щепкиных я чувствовал себя очень хорошо: все были ласковы, ни крику, ни брани. Нашалишь, стараются довести до сознания вины, а не бранят. Отучали от лжи, но тоже лаской, без крику. И со всем этим мне пришлось расстаться, как только сестра моя вышла за Орлова. Дворянин Орлов не терпел М. С., вышедшего из крепостных, считал его общество для меня неподходящим, и меня к Щепкиным уже больше не пускали, но мое теплое чувство к этой семье оставалось живым.

Когда в 1845 г. я поступила на московскую сцену, мои отношения к М. С., возобновились, хотя мои старшие попрежнему не находили удобным пускать меня в его дом, где было много молодежи.

Один только раз я была с маменькой у него на именинах. Видела Герцена, Грановского, Кетчера, Вячеслава и Евгения Якушкиных [1]). Мне было интересно с ними и весело с сыно-

[1]) Кетчер Николай Христофорович (1809—1886), журналист, переводчик Шекспира, участник знаменитого кружка Станкевича.— Якушкин Евгений Иванович (1826—1905), сын декабриста, писатель, знаток крестьянского вопроса.—Якушкин Вячеслав Иванович (1824—1861), старший сын декабриста.

вьями М. С., моими товарищами детства. Но маменька скучала в этом обществе. Отношения не наладились, и меня снова перестали пускать к М. С.

Видалась я с ним в театре и теперь только сознателько оценила и поняла, что значит серьезно относиться к искусству. Он очень следил за мной и много со мной разговаривал на репетициях, а в спектакле... и не подходи. Он священнодействовал. Весь в огне, пот льет градом; играя даже водевили, он готовился как будто к чему то страшному. Конечно, он был выше, образованнее своей среды, но какая скромность! Он сознавал себя неучем, внимательно выслушивал мнение каждого, хотя бы студента. Никогда не возносился и в других преследовал самомнение до жестокости. Помню, в Москве открылась новая фотография. Артистов просили сняться. В это время игралась с большим успехом «Школа женщин» Мольера. Приди мне в голову предложить М. С. сняться в костюмах из этой пьесы. Батюшки! Как мне за это досталось! Какое я имею право превозноситься, думать, что я хороша! «Прекрасно, я не хороша, ну, вы хороши».

«И я не хорош: одним понравился, другим нет». Про «Горе от ума» он говорил: «хвалят меня в Фамусове, а я не барин: нет у меня барской ноты. Вот Петя Степанов, если б не ленился, больше меня был бы на месте: у него барские ноты». Сыгравши новую роль, он по возвращении домой снова брал читать ее, чтобы

проверить, какие были ошибки. Я часто была этому свидетельницей, когда, по выходе замуж, бывала у него. Гуляя по улицам, он постоянно думал о какой нибудь роли, забывался иногда и говорил вслух. На репетицию едем, бывало, в казенной карете. Он так просто, естественно начнет говорить, думаешь, что это он мне говорит, а оказывается роль читает наизусть, да так твердо, слова не пропустит. Я не помню никогда в его руках тетради, к первой репетиции он уже твердо знал роль.

Избави бог не знать роли или передавать своими словами: как публика и критики могут судить о языке автора, если мы будем сочинять по своему.

Иногда хотелось бы сократить роль, где скучно. Беда! А ты не читай на сцене твою роль, говори... живо... не будет скучно. Не хотите потрудиться, все бы вам кулачный бой, да бенгальский огонь, поэффектнее, да полегче!.. Бывало, обращаешься к нему за помощью: как это выразить? Он не учил с голоса, а требовал, чтобы сама вдумывалась.

— Научите же, как сказать?

— Этого нельзя. Я скажу, может быть, и хорошо, по своему, а ты можешь сказать еще лучше, тоже по своему: у всякого человека есть манера, присущая только ему.

Каждому, у кого не было честных убеждений, в семье Щепкина было неловко: он поневоле должен был испаряться. Солгать, схитрить перед

М. С. было немыслимо... Сейчас проникнет настоящую мысль и разоблачит.

Представляю несколько случаев из моей жизни; может, теперь это и смешно покажется, но тогда для меня это было еще ново и хорошо ложилось на душу. Спешишь рассказать ему про себя что нибудь хорошее: «Я вот как сказала или сделала». А он:

— А я сегодня умывался.

— Ну так что же?

— Ничего.

— Зачем вы это говорите?

— Я обязан себя в чистоте держать и не хвастаюсь, а ты хвастаешься. Чем? Ты обязана была так поступить. Разве бог на гадости тебя создал?

Еще в пансионе Эттер меня учили: «Когда говоришь с кем, надо делать милое лицо, говорить с улыбкой, особенно приветливо». Вероятно, эта прелесть во мне в пересол пошла. М. С. несколько раз обрывал меня при многочисленнейшем обществе.

— Не ломайся, матушка, не актрисничай, говори проще.

Помню, как я раз с апломбом повторила замечание, слышанное мною от кого то в Петербурге, что в «Горе от ума» фразу: «Но мудрено из них один скроить, как ваш», должна говорить Софья Павловна, а не Лиза. Лизе не следует вмешиваться в разговор.

— Маточка, сделай милость, не поправляй ты мне Грибоедова: по моему глупому разуму, самое

слово «скроить» принадлежит горничной с Кузнецкого моста.

— Жизнь дана для наслаждения, — скажешь.

— Кто и в чем находит наслаждение? Я както, гуляя, набрел на свинью, которая лежала по горло в грязи. Я остановился перед ней, а она говорит:

— Дурак, дурак, ты не понимаешь, какое это наслаждение!

— Ах, как я люблю драматическое искусство!—скажешь бывало.

— Врешь, маточка, ты его еще не понимаешь, а ты любишь что молодежь тебе много в ладоши хлопает. Бескорыстной любви ты еще не знаешь.

И правда! Бывало, студенты неистовствуют, вызывают, как весело! А как за кулисами начнет отделывать Мих. Сем. и другие артисты, показывая все промахи и недостатки, чувствуешь, не велика птица; сознаешь, что не бог знает, какой талант, а просто молодежь — молодость приветствует. М. С. иногда заходил в театр, хоть и не был занят, всегда принимал участие и делал замечания. Он нам внушал любовь к искусству и уважение к публике, не к массе, она добра и бестолкова, — но к критике и интеллигенции. По его словам, он своим развитием был обязан дому Аксаковых и рассказывал нам, как они подтягивались, зная, что Сергей Тимофеевич в театре. Так потом и на нас действовало присутствие Николая Христофоровича Кетчера и его кружка.

В то наивное время казна представлялась чем то отвлеченным, чужим, что можно обирать безгрешно: «она, мол, матушка, богата».

Мих. Сем. глубоко огорчался лишними расходами по театру и грабежами чиновников в союзе с подрядчиками.

Он рассказывал, что, когда приехал в Москву, театральная контора состояла из пяти чиновников, кроме директора: управляющий конторой, он же и распорядитель по репертуару, переводчик, он же и секретарь, смотритель театра и сборов, казначей, других не помню; остальные простые писаря.

В то время, о котором я говорю, московский театр уже был под управлением петербургской дирекции. Порядки пошли иные. Уничтожили образцовую школу, где, как я уже говорила, учили так, что всякий был полезен в деле. По уничтожении школы пошел наплыв чиновников. Это возмущало Мих. Сем., он говорил, что гражданским и уголовным законам подлежим, как и все подданные, зачем же при театре столько чужих? Они могут другим образом приносить пользу отечеству, а актеры, оставившие службу или выпущенные из школы, лучше поведут свое хозяйство: оно близко их сердцу, они его знают и не поднимут руку на свою alma mater.

Попалась и я по поводу грабежа.

Перчатки и обувь казенную нам позволяли держать дома. Водилось так, что по прошествии некоторого времени свои собственные башмаки

или перчатки, порядочно поношенные, отдашь в контору и требуешь новые. Попадись я на глаза М. С. с этим. Он спросил:

— Что это, маточка, за старье? Ты не могла на сцене так износить обувь.

Я преспокойно отвечаю, что ношу казенные башмаки и перчатки вне театра. Господи! что это было! Как он вскипятился, назвал меня бессовестной, воровкой и пошел... и пошел... Тут и объяснил он, что такое казна и какие обязанности должны быть гражданина к отечеству. Случалось мне занимать у него деньги: он никогда не отказывал, но требовал аккуратного возвращения. В какой срок обещала возвратить, чтоб слово верно было.

Когда у меня пошли дети, он так наставлял:

— Старайся дать образование, ничего не жалей. Не говори детям, что не должно делать дурного, потому что бог накажет: внушай, что бог создал нас на хорошее, и во имя разума не следует делать дурного. Бог дал нам все, чтоб быть счастливыми. Во многом мы сами виноваты. Если горе и неудачи будут преследовать тебя, то помни о других, что есть несчастнее, которые с терпением несут крест свой. Но, чтоб понять это, надо любить людей. Люби, люби их. Хотя больше дурных, но какая радость, когда сойдешься с хорошим. И к дурным надо относиться с любовью,—кто знает, что его сделало дурным? Может, он ласки не встречал, слова правды ему некому было сказать.

Дорогие воспоминания! Но как слабо мое перо, чтобы в точности выразить, как он говорил.

Болело его сердце о крепостных. Много у него было рассказов, некоторые напечатаны. От него первого я поняла тяжелое положение крепостного состояния. Хотя случалось самой видеть, как их бьют, но я не придавала этому значения, потому что, хоть и не была крепостная, но воспитывалась под сильным битьем,—тогда считалось так нужно. При воспоминании о моем детстве, ни малейшей злобы нет в моем сердце. Мои родители тоже были крепостные, но они не жаловались. По рассказам М. С. я узнала другую сторону медали.

Вспоминаю такой случай: был М. С. где то на водах. Встретился там с двумя генералами: Д. Д. Ахлестышевым и Лидерсом [1]). М. С. пил воды, после прогулки сел отдохнуть. Генералы подходят к нему, он, конечно, встал, спрашивают:

— Скажите, М. С., отчего французский актер, хотя бы второклассный, ловок и свободен на сцене, тогда как наши, и первоклассные то, связаны, а вторые, уже бог знает что.

— Это оттого, что я перед вами встал.

— Что это значит?

— Я старик, устал, а не смею с вами сидя разговаривать. А французский старик не постес-

[1]) Ахлестышев—в 40-х гг. одесский губернатор.—Гр. Лидерс А. Н., в 1855 г. главнокомандующий Крымской армией.

нялся бы. Снимите крепостное иго, и мы станем развязны и свободны.

Осуждали в М. С. его низкопоклонство. Правда, М. С. страдал этим пороком, но не надо забывать, что он сам вышел из крепостных и, хотя был известный артист, хорошо понимал, что находится в крепости у чиновников; в их руках были и благосостояние и талант его. Пример бедного Мартынова показывает, что начальник репертуара или режиссер могут жечь талант на медленном огне. Чиновник перед талантом, что фельдмаршал перед фельдфебелем, способности и талант которого он всегда может унизить и задавить.

Припоминаю два анекдота, рассказанные им. В 1848 г., когда в Европе были беспорядки, он зашел в мясную лавку (он сам ходил в Охотный за провизией), где разговорился по обыкновению. Точно он был призван везде вносить живое слово, со всеми он умел разговаривать. Но тут мясник его озадачил:

— Что это батюшка, М. С., какие беспорядки везде? То ли дело у нас, мирно, смирно, да только прикажи нам государь Николай Павлович, так мы такую революцию устроим, что чудо!

Раз Мих. Сем. был свидетелем, как в лавку, где он забирал, приехал один из наших полицеймейстеров, купил теленка и велел мясникам держать в лавке на погребе, сказав, что будет присылать по частям за ним. Заговорили как то лет через пять о взятках, М. С. и говорит

мяснику, что есть и честные люди, например, полицеймейстер, который при нем заплатил деньги за теленка.

— Да что вы, батюшка, вот пять лет он кормится все этим же теленком, а по счету выходит не один теленок, а уже стадо. Денег же мы больше не видали.

Кстати здесь вспомнить, как отличился раз М. С. Государь Александр II гостил как то в Москве и пожелал назначить «Горе от ума». В одном из антрактов государь пришел за кулисы и в полумраке разговаривал с Шумским.

Мих. Сем., заложивши руки за спину, подошел к ним и слушал, о чем говорят. Государь говорит:

— Отчего теперь не пишут таких пьес, как «Ревизор» и «Горе от ума»?

— Оттого, ваше превосходительство, что теперь другие интересы в России, другие вопросы поднялись, не до театра.

Государь ничего не ответил и отошел.

— Кто этот генерал?—спрашивает Щепкин.

— Да государь.

— Ай, батюшки!

В следующий спектакль, когда государь во время антракта вошел на сцену, Щепкин сам подошел к нему:

— Простите старику, государь, я не узнал вас.

— Ничего, ничего, старик. Это оттого, что мы с тобой редко видимся,

Любил Мих. Сем. играть в карты по маленькой, сначала в ералаш, а в последнее время в безик. И к картам относился серьезно: не смей ни о чем разговаривать, смеяться, развлекаться, забудь все земное. Помню, вышел смешной случай. Задумал он давать в бенефис «Холостяка». Ждали Тургенева, который в то время из-за границы должен был быть в Москве. Сели играть в карты. Во время игры приехал И. С. Тургенев. Подошел поздороваться с М. С., тот даже не взглянул на него, наскоро пробормотал; «здравствуйте, здравствуйте».

Тургенев начал ходить по комнате, рассматривать картины. Наконец, когда кончилась сдача, Петр Михайлович заметил отцу.

— Погодите, батюшка, играть, посмотрите, кто приехал.

Мих. Сем. опомнился.

— Ах, извините, Ив. Серг., я вас и не приметил.

Последнее время у него очень слабы были нервы. Рассказывая, читая или выслушивая что нибудь доброе, хорошее, он заливался слезами.

За год до смерти с ним был легкий удар и его посадили на диэту. Когда бывали обеды в английском клубе, он не пропускал их, чтобы быть в обществе, которое очень любил, а есть мог одни только легюмы (овощи).

Однажды я спросила, неужели ему не тяжело питаться такой невкусной пищей? Он отвечал:

— Я жить хочу, все знать, все видеть и не жалею жертвовать желудком для головы и сердца.

Вот все мои воспоминания о М. С., как о человеке. Артистическая его деятельность описана другими. Лично я не могла судить о ней по молодости лет; сама много с ним играла.

Сравнить его ни с кем не могу: он как то сам по себе. Понимала и понимаю, как он любил горячо свою деятельность, как честно служил своему делу и как нас, молодых, заставлял трудиться.

Говорят, актер, умирая, все уносит с собой, но с Щепкиным это не так. Он жив, жива душа его на московской сцене. Самарин, [1]) Шумский продолжали его дело, теперь осталась представительницей Медведева [2])—той же школы, тех же взглядов. Федотова, [3]) Никулина [4]) пользовались его участьем, хоть немного застали его. Ермолова, [5]) близко стоящая к Медведевой, Ленский, [6]) воспитывавшийся тоже на московских традициях, и другие. Ведь эти лица, твердо стоящие на сцене, продолжают дело М. С. Счастливы те новые таланты, которым придется развиваться в среде таких честных деятелей.

[1]) Самарин Иван Васильевич (1817—1885), знаменитый московский артист, сын крепостного.

[2]) Медведева Надежда Михайловна (1832—1899), знаменитая артистка Малого театра. Для нее специально Островский написал несколько ролей (в „Лесе“, в „Волках и овцах“).

[3]) Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925), знаменитая артистка Московского Малого театра.

[4]) Никулина Надежда Алексеевна (1845—1923), известная артистка.

[5]) Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), великая драматическая артистка.

[6]) Ленский (Вервициоти) Александр Павлович (1847—1908), известный драматический актер.

Умер Мих. Сем. в 1863 г. во время поездки в Крым. Он был уже очень дряхл, но жизнь кипела в нем. Он дорогой хотел еще зарабатывать деньги и, как впоследствии мне рассказывали, не делал сборов, трудно было разобрать, что он говорил, тем более, что не мог выносить вставных зубов.

Прощалась я с ним в доме Александра Михайловича [1]). Он был очень грустен, предчувствовал свою смерть и со слезами просил всех не оставить Мишу Лентовского [2]).

Надо сказать, что за год до кончины М. С. еще приобрел воспитанника. Однажды приезжает ко мне с письмом, полученным из Саратова от 15-ти летнего мальчика Лентовского. Он умолял М. С. дать ему средства добраться до Москвы, он желает учиться и посвятить себя театру; отец его—кажется фельдшер—обременен большим семейством и не может ничего для него сделать. М. С., вечно нуждавшийся в деньгах, обратился к Рыкаловой [3]), Медведевой и ко мне, чтобы мы сложились и помогли выписать мальчика. Это устроилось, и Миша приехал. М. С. страшно привязался к нему, устроил, чтоб ему позволили ходить в театральную школу брать уроки пения и танцев. Вот о ком то он и просил, чтоб все близкие ему

[1]) Сын М. С. Щепкина, служивший по Удельному ведомству.

[2]) Лентовский Михаил Валентинович, впоследствии популярный устроитель эффектных театральных зрелищ и антрепренер.

[3]) Рыкалова Надежда Васильевна (1824—1914), известная московская артистка.

люди не оставили его в случае, как он предчувствовал, его смерти.

М. С. пережил свою славу, но оставить совсем сцену он не мог, имея на шее большую семью. Получал он в это время всего 2000 р., а пенсии ему было бы только 1143 р.,—как тут жить? Его дети, друзья отговаривали от такой дальней поездки, но он считал неделикатным, взяв 500 р. на лечение, выхлопотанные ему графом Борхом, остаться в Москве, или, как ему советовали, ехать к сыну в деревню и там пить воды.

Кроме того, в это время был в Москве граф Толстой, Алексей Конст., и уговаривал ехать в Ялту, обещая устроить ему свидание с императрицей М. А., которая будет жить в Ливадии. Он ей будет читать, а М. С., болеющий сердцем о московском театре, сможет ей высказать все несправедливости, злоупотребления, какое дурное воспитание дают в школе, приучают к роскоши, а потом выпускают с ничтожным жалованьем на все четыре стороны, прямо на погибель.

Разумеется, все осталось в мечтах, до Ливадии его не допустили, так ему, голубчику, и не удалась его благородная миссия, и он одиноко скончался в Ялте на руках своего лакея.

Прах Щепкина распорядились уложить в мебельный ящик, и никто не знал, когда его привезли. В южных городах готовились к встрече: Щепкин был близок Полтаве, Харькову, Курску, где начинал свою карьеру. Я в это время была в Орле, а мы ждали, ждали... уже из Москвы

получили телеграмму, что тело прибыло после того, как двое суток стояло в Орле в багаже вместе с мебелью. Хорошо распорядились!!

Вспомнила еще, как он раз после болезни, за утренним часм, говорил:

— Вот умрешь, по обычаю тебя потащат на родственное кладбище (Даниловское), а я бы хотел лежать, где Грановский с друзьями...

Воля его была исполнена.

Перехожу к воспоминаниям об остальной труппе Московского Малого театра 40-х годов.

Вспоминаю восторги публики перед игрой П. С. Мочалова. Сама я, к сожалению, не могла восхищаться по глухоте своей, потому что, когда Мочалов был в ударе, он говорил задушевно и тихо. Зато не могу забыть, как он играл в пьесе «Боярин» и был не в ударе. Он должен был представлять какого то разъяренного мужа. Моя сестра, игравшая его жену, в ужасе и отчаянии расстилается у его ног, а он равнодушно помахивал опущенным топором и совершенно спокойно распевал: «Я тигр, вырвавшийся из клетки». Публика ничего понять не могла и в антракте говорили: «что с Мочаловым? что с Мочаловым?» А дело было просто: он утром поругался с директором и играл нехотя. П. С. вообще играл по вдохновению, и подготовки у него не было. Иногда половину роли ведет, как попало, потом вдруг огонь небесный осенит его, и все в восторге. Он сам не знал вперед, когда и как это случится, как он сыграет. От

одного из родственников М. С. Щепкина я слышала такой рассказ. М. С. учил роли на зубок и сбить его или спутать было совершенно нельзя. Однажды он играл в «Коварстве и любовь» роль Вурма, а Мочалов — Фердинанда. Вурм говорит последнему о письме Луизы. Мочалов стоял к нему спиной, но вдруг повернулся и так на него взглянул, что М. С. совершенно растерялся, забыл слова роли и должен был сделать значительную паузу, чтобы припомнить, что ему говорить. Вот какова была сила вдохновения в игре Мочалова! Но избави бог, бывало, ему приготовиться играть хорошо. Помню раз много смеялись. Встретил он С. Т. Аксакова в день представления. Тот сказал, что собирается сегодня в театр смотреть П. С. в какой то, уж не помню, роли. Перед самым спектаклем Мочалов все говорил за кулисами:

— Надо сегодня хорошенько сыграть: С. Т. в театре.

И уж так сыграл, как не осмелится никакая посредственность, как играл лишь один Мочалов, когда бывал не в духе.

Сестре моей часто приходилось играть с ним, и вот что она мне рассказывала. Иногда она оканчивала свою роль раньше и проходила мимо Мочалова, чтобы ехать домой. Если он ей при этом бывало скажет: «Счастлива, едет домой гречневую кашу есть, а я тут распинайся за все», (сестра после спектакля имела привычку есть гречневую кашу) — ну, значит, толку не будет.

А если он пропустит ее мимо молча, опустивши глаза в пол, она объявляет всем в уборной: «идите смотреть, сегодня будет настоящая игра».

Я помню Мочалова в сцене из «Уголино», где он находит Веронику задушенной. Лицо Мочалова, его долгое молчание действовали изумительно, мороз подирал по коже.

Костюмировался он отчаянно: что принесет портной, то и ладно. Сестра рассказывала, как однажды в Ромео он предстал таким пугалом, что она, Джульетта, не могла удержаться от смеха. Впрочем, мы все в то время мало обращали внимания на костюмы, да и начальство было на это скупо и малосведуще.

Семейная жизнь его была тяжелая: жена его, болезненное существо, большею частью лежала в постели; его единственной и горячо им любимой дочери сумели внушить презрение к отцу за его несчастную слабость к вину. Иногда П. С. увозил меня прямо с репетиции к своей Кате, и я сколько раз бывала свидетельницей, как он во время запоя бушевал и декламировал, и какая брань сыпалась на его голову от тестя, тещи и дочери. Он не выходил из комнаты, но голос его раздавался по всей квартире. Окружающие не ценили и не жалели его. П. С. достиг апогея своей славы, когда бросил жену и сошелся с Петровой. Она умела удерживать его от вина и оказывала благодетельное влияние на его талант. Но в их жизнь вмешались какие то добрые люди. Не знаю, как уж им уда-

лось, но они наставили П. С. на путь истинный, вернули к жене, и скоро Мочалов опять закутил, да так и не останавливался больше.

Талантливым jeune premier был Иван Васильевич Самарин, по крайней мере, я лучше не встречала. С ним мне чаще всего приходилось играть. К делу он относился очень честно, просил лишних репетиций, отделывал роли и меня заставлял работать. Я от природы была лентяйкой, и он часто стыдил меня. Репетиции в то время назначались в 9 часов. Приедешь неумытая, нечесаная, в большом платке. Он возмущался: «На что это похоже? Вы приехали из Петербурга такой барышней, что с вами стоять страшно было, а теперь что? Распустившаяся горничная»! Ах, как в это время бранили, учили, вспомнить любо!

Пров Михайлович Садовский тяготел тогда к Самаринским ролям, но это к нему совсем не шло, и я не помню ни одной его удачной роли этого жанра, хотя он всегда был правдив и естественен на сцене. Но вот появился Островский, и роли купцов получили права гражданства: до него купцы изображались только в карикатурном виде. Пьесы Островского выдвинули Прова Михайловича, и он встал на подобающий его таланту пьедестал.

Леонида Львовича Леонидова [1]) перевели в Москву на место Мочалова в трагедиях. Он стара-

[1]) Леонидов Л. Л. (1821—1879), московский и петербургский артист, ученик Каратыгина.

тельно копировал Каратыгина, завывал, говорил нараспев и не понравился. Трагедий с ним не стали ставить. Он должен был участвовать в комедиях и мало по малу начал отделываться от ненатурального тона, стал держаться просто, естественно. Останься он в Москве, из него выработался бы замечательный артист. Но на его беду приехал в театр император Николай Павлович, увидал его и сказал: «как он мне напоминает Каратыгина». Этого было достаточно, чтобы Л. Л. тотчас возвратился в Петербург, и он вернулся к прежней своей манере игры.

Незабвенный Торопка в Аскольдовой могиле был А. О. Бантышев. Когда знаменитый Рубини [1]) услыхал его замечательный тенор, то сказал ему через переводчика: «Если бы вы знали, какой капитал у вас в горле! Только вы не умеете его достать». Бантышев не получил никакого музыкального образования, и манера его пения была чисто русская, с некоторым ухарством. Так пел он арию «Возле города Славянска». А когда, бывало, после речитатива берет высокую ноту, продолжительно держит ее и рассыпается внезапно в веселую: «И уж как веет ветерок», вся публика, как один человек, впадала в неистовый восторг. А уж как пойдет: «Чарочки по столикам похаживали, пьяницы бородушки поглаживали» — невозможно было

[1]) Рубини (Giovanni Battista) (1795–1854), знаменитый итальянский тенор. Пел в Петербурге в 1844 г. вместе с Тамбурини и Виардо.

усидеть на месте, так и подмывает пуститься в пляс. Он был довольно грузен, любил хорошо поесть, но сколько в этом человеке было огня и энергии, несмотря на его толщину. В обыкновенных пьесах был вял и неповоротлив, но во всех дивертиссементах очаровывал своим пением, исполняя вместе с басом Лавровым «Соловья», «Тройку». В старину спектакли всегда оканчивались дивертиссементом, и помню, что после пения исполнялись русская пляска, казачок, цыганские пляски. И все артисты, по приказанию начальства, принимали участие в них, кто чем мог.

Царем водевиля и всеобщим любимцем был Василий Игнатьевич Живокини. Был он немного однообразен, типов создавать не мог, но брал неистощимой веселостью. Выйдет, бывало, на сцену, сразу все горе забудешь. С публикой он не церемонился, говорил часто от себя, прибавляя к роли, но ему все с рук сходило.

Помню, в пьесе «Дезертир» Живокини выходит на сцену в роли пастуха со свирелью в руках. Дезертир просит его сыграть песню родины. «С радостью», отвечает Живокини и, вместо того, чтобы показать на горы, указывает на публику и продолжает: «уж если я для скотов играю, как же не сыграть для брата и друга».

Я с ним играла в водевиле «Наперсница» и по ходу пьесы должна была дать ему пощечину. Спрашиваю его предварительно, как изловчиться, чтобы ему больно не было. «Ничего, душенька,

бей просто, авось до смерти не зашибешь». Я на спектакле как то изловчилась, так шлепнула, что он и роль забыл, а сказал только: «Вот так ловко!» Хохот в публике был неистовый, но в другой раз этого уже не повторялось, потому что сама я была осторожнее. Помню, громадный сбор взял Живокини в свой бенефис пьесой «За-зе-зи-зо-зю». Постановка была роскошная, но пьеса оказалась длинной и скучной ерундой. Действие в Китае. Живокини представлял китайского владыку и очень отличился в последнем действии. Ему приносят волшебный лорнет и в него он из Китая видит, что делается в Алжире. Живокини перефразирует: «Я вижу Алжир»... так: «Я вижу Москву, театр, бенефис Живокини, играют «За-зе-зи-зо-зю», какая же это мерзость!» Восторг публики полный. Так эта пьеса и была снята с репертуара.

Ленский Дмитрий Тимофеевич [1]), на роли фатов, весьма плохой актер, хотя и горячий, но кроме суеты у него ничего не выходило. Знаменитый остряк, каламбурист, душа купеческого клуба, влюбленный в свой сценический талант, прекрасный переводчик и переделыватель на русские нравы французских водевилей. Его Синичкин никогда не сойдет со сцены. Он был из купцов, чего стыдился, очень сердился, когда ему о том напоминали, характера был раздражительного, обидчивый, настоящая его фами-

[1]) Ленский Д. Т. (1805—1860), посредственный актер и плодовитый водевилист.

лия Воробьев. Своим острым языком и пасквильными стихами на товарищей он восстановил труппу против себя. Ему не давали впоследствии играть.

Передам некоторые его остроты. Когда отставили Закревского [1]), кажется это было в начале апреля, весть эта тотчас же дошла до купеческого клуба. Кто то явился с этой новостью в клуб:

— Господа, Закревского прогнали!

— Что так рано?—говорит во всеуслышание Ленский.

— Как рано?

— Да, ведь, на Егорья скотину выгоняют.

Больше всего доставалось Шумскому и Щепкину.

Перевели на московскую сцену из Петербурга Баранову-Кемерер, актриса неважная, но денежная. Шумский впоследствии женился на ее падчерице. Она возобновила в свой бенефис «30 лет или жизнь игрока». Главные роли играли: Жоржа—Самарин, Варнера — Шумский, и оба были очень плохи. Ленский сидел в креслах и сказал следующее экспромтом:

Приехала Баранова,
Игрока нам заново
На сцену поставила,
Сбор себе составила
С помощью Шумского-Самарина.
Славные два барина,

[1]) Гр. Закревский, Арсений Андреевич (1783—1865), с 1848 г. по 1852 г. был московским генерал-губернатором; крайний ретроград.

Ничем они не стесняются,
Со всем они справляются.
Они люди толковые
А, ведь, все целковые.

Прочие экспромты большею частью неприличные. Но вот его милое стихотворение на всю труппу 30-х годов, под названием:

КАВАЛЬКАДЫ

Не в бой против врагов летит
Лихой отряд кавалеристов,
Ватага смирная артистов
Верхами за - город спешит
И всех на улицах смешит.
Желая публике добра,
Она оставила кулисы.
Под ними лошади, как крысы,
Все с постоялого двора,
Все по полтине серебра.
Какая смесь одежд и лиц!
И едут все они в заставу.
Вот прямо рыцари на славу,
Один, как Дон-Кихот, хорош,
Другой на чучело похож.
Вот Сила Кротов режиссер, [1])
О! Что касается до Силы,
То описать его нет силы.
Что он такое? До сих пор
У нас идет ужасный спор,

[1]) Сила Лукьянович Кротов был главный режиссер драматической труппы, любимец Верстовского, в то время начальника репертуара, и известен был как взяточник. Я его видала, когда была маленькая и в первый раз пяти лет играла на сцене. Женат он был на балетной танцовщице 20-х годов Е. Д. Медведевой, родной тетке Надежды Михайловны Медведевой. (*Примеч. А. И. Шуберт.*)

А надо думать, что он вор.
Вот молодец из молодцов
Степанов, выродок натуры,
Степанов бог карикатуры,
Он всех копировать готов,
Он Федоров и Ушаков,
Он и Нарышкин и Теплов.
Еще вот немец Купфершмидт [1]).
Он наш запасный магазин.
Мит им ман как цуфриден зейн:
Ремень порвется, прикрепит,
И лошадей вам напоит.
Вот Щепкин. Как же он мясист!
Да это право чудо-юдо!
Он в сутки мяса ест полпуда.
Он превосходнейший артист,
Умен, забавен и речист,
Но жаль... душой не очень чист!
А это что за испитой,
В очках, фигурка невеличка
Над лошадью торчит, как спичка.
То Кони [2]) немец удалой,
Давно обруганный молвой.
Ах, Бантышев, какой урод!
Обидел бог его рассудком,
Зато уж наградил желудком.
Он очень хорошо поет,
Чудесно пьет, чертовски врет.
Скажите, это кто таков?
В черкесской бурке и фуражке,
К седлу привешены две фляжки?

[1]) Музыкант, скрипач, ярый охотник, приятель И. С. Тургенева, часто ездил к нему в Спасское охотиться, милый, веселый собеседник, со всеми дружный. На репетиции во время прозы всегда дремал, на что Ленский сострил: „Охотник-то наш спит и не видит, что под носом дичь". (*Примеч. А. И. Шуберт.*)

[2]) Ф. А. Кони, журналист, издатель журнала Пантеон. Написал несколько талантливых водевилей. Женат был на талантливой актрисе Юрьевой, по сцене Сандуновой, отец ныне здравствующего общественного деятеля А. Ф. Кони. (*Примеч. А. И. Шуберт.*)

Илья Васильич, сын Орлов,
Словарь простонародных слов
И врать и пить куда здоров.
Что вижу! Вьявь или во сне?
Кто это там в кольцо согнулся?
Так точно, я не обманулся,
Иван Лобанов [1]), на коне.
Скакун верхом на скакуне.
А это что же за актер
Амурчик в радужном наряде,
На серенькой плетется сзади?
Мардарий Щепин [2]) Миловзор,
Хохлатый и серьезный вздор.
А этот с парой толстых губ
И в роде глупого разини—
Наш комик Вася Живокини,
Отличный малый, добр, не скуп,
И сколько весел, столько глуп.
А этот прындик Пастушков
С широким носом, миной женской —
Несчастный переводчик Ленский.
Он каждый час упасть готов,
Как на пегасе граф Хвостов.
А это что за господа? [3])
Вдали гарцуют у коляски?
Нельзя сказать. Что ж за беда,
Давай на сцену их сюда.
Ну нет, об них уж помолчу,
С поклоном им даю дорогу:
Я их описывать ей богу,
И не могу и не хочу.
Я выбираю по плечу.

[1]) Иван Карпович Лобанов был танцовщик. Я его запомнила уже пожилым и он играл в балете комические роли. (*Примеч. А. И. Шуберт.*)

[2]) Павел Мардарьевич Щепин играл любовников, пел в опере, потом был оперным режиссером. Актер несимпатичный, но другого не было. Женат был на побочной дочери Мочалова, Авдотье Павловне Петровой. (*Примеч. А. И Шуберт.*)

[3]) Начальство, принимавшее участие в пикнике—имен не знаю. (*Примеч. А. И. Шуберт.*)

Всех второстепенных актеров не упомню. Шумский и Васильев [1]) только еще пробивались. М. Шуберт, хотя и недурен был в ролях простаков, но был ленив учить роли, не имел памяти и чрезвычайно робел. Весь репертуар Асенковой несла на себе в Москве П. И. Орлова, единственная актриса на трагедии, драмы, комедии, водевили. Приходилось ей играть и мужские роли: «Гусарская стоянка», «Полковник», «Ришелье» и другие, и это ей удавалось, благодаря высокому росту и красивому сложению. Темперамента она была холодного, но брала тонким и умным исполнением деталей и была общей любимицей.

Режиссерами были А. Ф. Акимов и С. П. Соловьев, а начальником репертуара Верстовский. Порядок был образцовый, и им то на голову, бог знает зачем, посадили 3-го режиссера, Беккера, бывшего секретаря Гедеонова: Петербург запустил руки в московский театр.

Все остававшиеся от сборов деньги тоже стали препровождаться в Петербург, а оттуда снабжали Москву всем, что там не было годно. Порядок поддерживался отнюдь не Беккером; он только подписывался главным режиссером да получал большой оклад и бенефис, а на репетициях сидел, как «статуя». Душою всего дела были Акимов, Соловьев и сами артисты.

[1]) В Москве было два брата артисты Васильевы: комик Васильев II Павел Васильевич (1832—1879) и Васильев Сергей Васильевич (1827 — 1862); кого из них имеет здесь в виду автор — трудно сказать.

Репетиции, как сказано выше, назначались с 9-ти час. утра. Настоящий режиссер являлся на последние 2—3 репетиции, а до него суфлировать сажали какого нибудь юношу, первого попавшегося на глаза, который еле разбирает. Поэтому со второй и третьей репетиции роли надо было твердо выучивать нам, новичкам, но и опытным артистам: за такого суфлера не спрячешься. На считку собирались все аккуратно, — даже странно писать об этом, — иначе и быть не могло: как же узнать все детали пьесы и ориентироваться в ней? Нынешние знаменитости разбирают пьесу по домам, собираются только второклассные и выходные. Читают пьесу с пропусками, вяло переписывают строчки, пропущенные писцом, а что за пьеса— никто не знает: говорят, по репетициям можно узнать, в чем дело. А кто же следит за репетициями, если один в уборной, другой курит, тот чай пьет, а кто анекдоты рассказывает? Хорошо, когда сам автор возьмется читать пьесу, тут еще соблюдается вежливость,—да и то не всегда.

В Москве считки имели серьезное значение. На первой репетиции всю пьесу читали по ролям, кроме М. С. Щепкина, я у него не помню тетрадки в руках.

Режиссер на этой репетиции показывает места, заранее им уже дома слаженные, чьи где комнаты, какие кому нужны аксессуары. Вторая репетиция уже без ролей.

Попробуй тут запнуться, — старшие заедят. Бывало, точат, точат, если не знаешь роли, да, боже сохрани, Верстовский войдет, а он часто появлялся и наблюдал за репетициями. Артисты и сами принимали участие в mise en scène, сами повторяли сцены по нескольку раз, а молодежь просто муштровали: репетировать заставляли во весь голос и со всеми оттенками. С непривычки к сцене, не знаешь бывало, что с руками делать: вертишь платок или пуговку от перчаток. Так изволь их в карман положить. Была школа, была!!!

Лет двадцать, двадцать пять спустя, я как то разговорилась с Шумским, — он был уже премьером на Московской сцене, зачем он не обращает внимания на молодежь, не школит их так, как нас школили.

— Благодарю вас,—ответил он,—я не желаю слышать дерзостей: не ваше дело, или, вы не режиссер.

Откуда взялись такие дикие понятия? В наше время любили и уважали своих учителей, которые подчас бывали очень круты. Раз в жизни удалось мне видеть старого учителя, князя Шаховского, о котором я говорила выше. Орлова давала в свой бенефис пьесу «Своя семья», написанную им при участии Грибоедова и Хмельницкого [1]). Она послала ложу Шаховскому. По окончании пьесы он пришел на сцену.

[1]) Хмельницкий Николай Иванович (1789—1845), драматург и переводчик.

Он был уже очень дряхл и стар и давно не бывал в театре. Надо было видеть, с какой любовью его окружили его ученики и ученицы, сами уже старенькие, дряхленькие, пузатенькие, с каким восторгом принимали его похвалы! А учитель он был очень крутой.

Репертуар в это время шел очень разнообразный, больше переводный. Зимой играли мы в Большом театре, в Малом были французы. Театр был огромный, но с великолепным резонансом, не надо было только скоро говорить, а произносить отчетливо, чтобы слова не сливались. Играла я очень много и с успехом. М. С. Щепкин очень за мной следил и радовался моему успеху, как отец.

Сестра моя, Орлова, была в то время единственная актриса на первые роли. Не могу сказать, капризничала ли она, но у нее были постоянные контры с начальством, и я слышала от нее вечные жалобы. Верстовский еще со времен Репиной недолюбливал сестру, часть ее ролей передали оперной артистке Семеновой и кончилось тем, что Орлова подала в отставку, вероятно, в надежде, что ее не выпустят. Ее не удерживали. Директор ответил: «уходите хоть все. Мне то что? Я не антрепренер, мне царь дает деньги».

Было совершенно неожиданно для всех, непонятно: отчего? Почему? Со мной, как с девочкой, тогда не разговаривали, спустя лет 30 и лишь недавно я получила разъяснение этого

происшествия от самой Семеновой. Расскажу это, чтобы показать, какова была сила чиновников над артистами, даже над первоклассными. Недаром говорится: «просите и не дастся вам, толцыте и вас вытолкают».

Встретила я Семенову в Москве у Н. М. Медведевой и спросила: «Что это значит, Екатерина Алексеевна, что вы, оперная певица, вздумали играть в драме и при том нехотя, что было очень заметно, потом бросили драму и опять вернулись в оперу?» И вот, что она мне рассказала.

«Я в то время дуру разыграла и была игрушкой в руках Верстовского; ему нужно было выжить Орлову, которой подходил срок контракта. Я ничего этого не знала. Хоть весь оперный репертуар лежал на мне одной, я получала очень мало, как бывшая воспитанница театрального училища, не дослужившая девяти лет за свое воспитание. Я обратилась к Верстовскому с просьбой, чтобы он выхлопотал мне прибавку. Он сказал, что это трудно и что он советует мне попробовать себя в драматических ролях. «Орлова часто капризничает, а вы не будете останавливать спектаклей. В виду этого я могу вам выхлопотать хорошую прибавку». Я поверила. Взяла «Материнское благословение». С ним я еще могла сладить: тут много пения; с драмами и комедиями было трудно. Шумский прямо говорил, что я играю плохо, но Самарин взялся учить меня. Так я сыграла несколько ролей.

В это время Орлова возобновляла контракт. Верстовский написал в Петербург, что Орловой дорожить нечего: Семенова ее с успехом заменит. Орловой отказали и она оставила сцену, а мне после нее и ролей не давали и в прибавке надули, да чуть не в глаза меня ругали поклонники Орловой, что я ее выжила своими интригами».

Вот каково было заглазное управление петербургской дирекции.

Семенова его тоже изводила потом уж на моих глазах. Несколько раз по болезни заставляла снимать только что поставленную новую оперу при полном сборе. Один раз перед спектаклем, катаясь в санях, сама подъехала к театральному подъезду и отдала записку, что играть нынче не будет.

Все ее называли молодцом, что она так бесит Верстовского.

Отставка сестры поразила меня; у нее мне жилось хорошо, а теперь вставал вопрос: «что со мной будет?» Она и сама не ожидала такого реприманда. Может и смирилась бы, но в это время был в Москве добрейший Н. Н. Солодовников. Слыша жалобы и сетования сестры, он сказал ей в добрую минуту: «Да плюнь ты на все это, Параша! Я дам тебе 25 тысяч и сверх того буду давать на содержание. Переезжайте с мужем в Петербург»!

Орловы, увлекшись чужими денежками, и махнули в Петербург, Орлов вышел на пенсию,

кажется, в 600 р. Всех это удивило, а меня так очень огорчило. Я чувствовала себя сиротой и под общим настроением стала думать, что Верстовский не любит всю нашу родню и не даст мне ходу на сцене. Я горько плакала, Миша Шуберт тоже: он оставался на своем маленьком жалованьи. Мы оба ревели с ним, как дети, а тут мне показалось, что я влюблена в него и лучшего мужа мне не надо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Выход замуж за М. Шуберт. — Переход на Одесскую сцену.—Одесская драматическая труппа в 1847—1853 г.— Успех А. И. Шуберт у публики. — Жизнь в Одессе

По отъезде сестры родители мои наняли квартиру получше, вероятно, с помощью Орловых, и я поселилась у них. Жили мы бедно, никто у нас не бывал и мне было очень скучно с маменькой, которая все ворчала. Одну меня никуда не пускали, а выезжать со мной маменька ленилась. Я решила вырваться на свободу, выйдя замуж.

Когда я объявила об этом родителям, они в ужас пришли от такого мезальянса, стали мне про Мишу говорить разные нехорошие вещи, клеветать. Я видела, что все это неправда и это еще больше подстрекало меня заступаться за него и охотнее проводить с ним время; мы с ним постоянно были вместе в театре, он провожал меня в карете домой. По просьбе родителей, я согласлась отложить свадьбу на год.

В театре я в то время была почему то мало занята. Появилось было у меня развлечение по душе, да скоро прекратилось. По соседству с нами жил в собственном доме на пенсии изве-

стный в свое время музыкант Костин, из крепостных, приятель моего отца. У него были взрослые сыновья, служившие у нас в театре на выходных ролях. Собирались у него; попал П. М. Садовский и передал свои впечатления в театре. Являюсь раз на репетицию, на меня все накинулись, особенно Самарин с Шумским: как это я, императорская артистка, смею играть чорт знает с кем и перед кем? С ними я спорила, ругалась, кричала. Щепкин и Живокини кротко урезонивали меня. Какие доводы приводили, не помню, не ругали ни актеров моих ни публику, но играть мне решительно запретили. Так и кончилось мое невинное удовольствие.

Родители надеялись, что я за год одумалась, но я настояла на своем и нас повенчали с Мишей Шуберт 17-го апреля 1846 года. Венчалась я рано утром. Гостей никого не было. Родители были очень огорчены моим упрямством, да и все знакомые не одобряли этой свадьбы. Конечно, ни приданого, ни денег никаких. Да и откуда взять? Получала я 300 р. серебром, муж 100 р. с чем то. Жизнь пошла желтенькая. Наняли мы комнату в мезонине, рядом с чердаком; стряпала нам хозяйская кухарка. Сама я в хозяйстве ничего не смыслила и много горя принесло мне это незнание.

В это время я холодно относилась к театру, да скоро по моему положению и совсем перестала играть. Помню, в это время с успехом

гастролировали петербургские В. В. Самойлов и Мартынов.

Принята была Н. В. Рыкалова, поступила Н. М. Медведева, которой дали некоторые мои роли, и имела выдающийся успех. Ей было тогда не больше 15 лет.

Миша Шуберт был не без таланта, но совершенно беспамятный, не мог учить ролей и потому очень робел на сцене и не любил театра. Однако ему удалось сыграть хорошо несколько ролей. У него была положительно страсть к машинам, и он прекрасно работал на столярном станке. Он просил директора перевести его помощником машиниста к талантливому Пино, но Гедеонов, которому он нравился в некоторых ролях, отказал, находя, что артистом быть почтеннее, нежели машинистом. Дома он постоянно работал на станке, а я в это время читала вслух. Помню, он по всем правилам математического расчета сделал в миниатюре большой театр и фигуры, где очень натурально ходили по сцене. Гостей мы не могли принимать за недостатком средств, о газетах понятия не имели, русской литературы, кроме Пушкина, не знали, Гоголь казался нам карикатурным.

А у сестры с Солодовниковым в Петербурге заварилась каша, дворянин с купцом не поладили. Что там было, не знаю, только Солодовников от них отказался, обещанного капитала (25 тысяч) им не давал, а платил только проценты и выдавал деньги на содержание. При-

ходилось жить на пенсию Орлова. С сестрой сделалась нервная горячка. Тогда вступился брат Н. И. Куликов, усовестил Солодовникова, и тот им дал 10 тысяч, с которыми Орловы вернулись в Москву и купили себе домик на 3-й Мещанской. О нем стоит рассказать. Дом деревянный, на каменном фундаменте, принадлежал хлыстовке, которая в это время сидела в остроге, а дом продавала ее сестра. При доме сад с кустами прекрасной малины. Комнатки небольшие, с некрашеными полами, изразцовая печь, выходящая вся в главную комнату; тут же на полу поперечные доски прикрывали большое пространство и крышка с железным кольцом. Нам объяснили, что это ящик для ссыпки картофеля. На дворе построены большие кладовые, каменные, без окон. По полицейским книгам видно было, что много гостей тут проживало, и все крестьяне.

Въехали в дом и поселились без переделки. Пришла осень, листья облетели, и в кустах малины оказался подвал, наполненный водой. Воду выкачали и увидали большое помещение и в глубине железную дверь. Эта дверь вела в подземный ход через всю Сретенку. Через него проходили на богомолье: сама хозяйка была богородицей. Миша обратил внимание на углубление в полу для ссыпки картофеля, выломал доски и нашел большую комнату без окон и дверей, с большой русской печкой. На шестке стоял котел с застывшей смолой. Итак,

Орловы переехали в этот оригинальный дом, а мы жили с Мишей на Арбате.

У Орловых мы были на презрительном положении: иначе нас не звали, как «Мишка да Сашка».

7-го января 1847 года у меня родился сын Михаил. Жить становилось труднее, надо было взять кормилицу: меня находили для этого слабой, да и с театральной службой это было неудобно.

Часто, чтобы дома не готовить, мы ходили с мужем на несколько дней в гости к каким нибудь знакомым. Единственную мою роскошь—часы, подаренные Солодовниковым, пришлось заложить.

Оправившись, я начала играть, только совсем безучастно. К театру стала относится индиферентно, играла небрежно, так сказать выдохлась. Даже разговоры с М. С. Щепкиным меня не интересовали; я вся поглощена была своей семьей. Жизнь шла день за день, не скучно не весело, а как то пусто.

В это время М. С. по поручению графа Воронцова [1]) набирал труппу в Одессу. Приезжал чиновник особых поручений одесского губернатора Ахлестышева,—Соколов, хороший знакомый М. С.

М. С. посоветовал нам с мужем ехать туда. В качестве режиссера М. С. рекомендовал сво-

[1]) Едва ли по поручению „графа Воронцова“: известный князь М. С. Воронцов в описываемое время находился на Кавказе.

его зятя Богданова, а из актеров: Шумского, еще некоторых и нас с мужем. Он очень хлопотал о нашем отпуске, потому что был глубоко уверен, что для молодых актеров провинция—самая лучшая школа. Отпуск нам дали только на полгода, и мы начали собираться в Одессу. Я была в восторге: получая здесь 25 р. в месяц, я ехала на 100 р. и бенефис. Мужу 50 р. и бенефис. Шумскому столько же, как и мне, а он, бедняжка, получал в это время только 50 р.; счастье его, что он жил у М. С. на всем готовом. Ребенка взять с собой было невозможно, и мы поместили его у моей акушерки, добрейшей Марии Львовны Купфершмидт. М. С. советовал нанять общую квартиру и жить общим хозяйством, говоря, что это будет стоить дешевле. Все было уже налажено, я уже воображала, что в Одессу буду ехать так же, как из Петербурга в Москву, передо мной рисовались роскошные станции, котлетки с горошком, жареные цыплята. В действительности все вышло иначе. Соколов был как то у сестры, и Орлов спросил его: «Отчего вы, Ал. Ив., не пригласите нас с женой в свою труппу? Мы свободны и были бы для вас не лишние». Тот обомлел от радости: он и не смел об этом подумать, к тому же он боялся, что они попросят дорого. Но сестра взяла только 150 р., зять—не помню, сколько, и по бенефису. Ал. Ив. был в восторге, что приобрел таких тузов. М. С. пожурил его за эту поспешность. Как я после узнала, гово-

рил, что порядку не будет, и что он сам впоследствии раскается, что и сбылось на деле. Мы с мужем совсем подпали под влияние Орловых, пикнуть перед ними не смели. Кроме того, для меня взяли еще старую деву, Матрену Григорьевну, кривую, злую, которая должна была заведывать моим хозяйством и смотреть за мной.

Отец мой горько плакал, расставаясь со мной, и я больше его не видала: он умер от горловой чахотки в 1848 г. Мы двинулись в двух тарантасах. Дорог не было, задержки на станциях, крик, ругань и даже драки Орлова из за лошадей. О котлетках и цыплятах и помину не было: ели всякую дрянь, ехали целую неделю при тропической жаре. На одной станции, где то под Орлом, остановились переменить лошадей против кабака. Оттуда несся шум, гам, и сестра услышала голос Мочалова: он был пьян и бушевал с мужиками. Я сквозь сон слышала, что сестра порывалась итти к нему, но муж ее не пускал. Сестра настояла на своем, пошла туда, но успокоить Мочалова ей не удалось. Это была их последняя встреча.

Приехали в Одессу в конце июня, в полдень, и остановились в гостинице против собора. Никого и ничего не знаем, из наших никто еще не приезжал. Вечером сестра и Матрена Григорьевна пошли пройтись, забрели в Пале-Рояль. По возвращении рассказывали, что их остановили какие то мужчины и не пропускали до тех

пор, пока они их не поцелуют. А надо сказать, нам наговорили, что Одесса порто-франко и там очень свободные нравы. Я сдуру поверила их шутке и ужаснулась.

В Одессе, как мне передавали, не было воровства, потому и полиции было мало. Это была правда. Прожила я в Одессе $5^1/_2$ лет и только с 1852 г. или немного раньше началось крупное воровство. Первое, наделавшее много шуму,—это пропажа посылки московского Армянского общества в Царьград на имя какого то архиерея, которому пересылалось облачение и церковная утварь. Затем две почты были разграблены под Одессой и бриллиантовый магазин Петикати. Впоследствии некоторые бриллианты Петикати были опознаны у некоторых дам, мужья которых занимали важные места.

Мы не раз слышали о хищениях от нашего знакомого частного пристава Пашковского. Это была презанимательная личность, весельчак, превосходный рассказчик. Он нам рассказывал, как ему приходится переодеваться до неузнаваемости. В то время жила в Одессе известная Мария Антоновна Нарышкина [1]). Я ее видала в итальянской опере в абонированной ложе.

Очень древняя старуха, всегда держалась прямо, в шляпке, с накладными буклями, и весь вечер спала, т. е. сидела с закрытыми глазами. У нее собиралось много народу, играли в лото,

[1]) Знаменитая красавица, в течение 14 лет находившаяся в связи с Александром I.

окружена она была поляками и ксендзами. Пашковский бывал там как гость и как полицейский, наблюдавший за всем, что там делалось. Ему было приказано одного из ксендзов выпроводить за границу. Пашковский каждый день играл с ним в лото. Сама Нарышкина, по старости лет, ни в чем не принимала участия, но около нее дела делались.

Пашковский явился в статском платье, с цилиндром, кем то рекомендовался, уж не знаю, беседовал с этим ксендзом и пригласил его с собой покататься в карете. «Так мы всю дорогу разговаривали и только на пароходе, когда я ему сказал, что он не должен возвращаться, назвал себя, он так и ахнул».

Как уж это случилось,—не знаю, но только впоследствии Пашковский попался и был посажен в острог, где и умер, как мы слышали. Его похоронили, и все видели его жену и сына в глубоком трауре.

Уже через 10 лет, в Москве, Петр Михайлович Щепкин, председатель Московского Окружного Суда [1]), мне как то говорит:

— Ваш знакомый воскрес!

— Какой?

— Пашковский.

— Как так?

— Пришел в Кишинев менять именные билеты, загримированный, в синих очках, но

[1]) Сын знаменитого артиста.

видно плохо спрятался, его узнал бывший одесский полицеймейстер Клейгельс.

Что дальше было,—не знаю.

На другой день после нашего приезда, во время обеда, отворяется дверь, очень развязно является высокого роста господин, рассаживается без приглашения, говорит, что он актер Попов и пришел с нами познакомиться. Спросил наши фамилии и когда узнал, что мы из столицы и Орлова та самая известность, о которой он знал из газет, он очень сконфузился и стал извиняться за свою бесцеремонность: с провинциальными актрисами он запанибрата. Большие пошли искать квартиру. Говорю «большие», потому что на нас с мужем смотрели как на ребят. Муж еще годился на посылки, а я, как девочка, шла, куда возьмут. Нашли квартиру, сговорились, но как только хозяин узнал, что актеры, тотчас отказал, потому что «актеры денег не платят». Наши не ожидали такого афронта и со стыдом ушли. Наконец, нашли квартиру и поселились три семейства: Орловы, Андрей Петрович Поляков [1]) с женой и десятилетним сыном и я с мужем. Прямо из передней был вход в общую залу, она же столовая, из нее налево комната Орловых, большая с двумя

[1]) А. П. Поляков был очень добрый и приветливый старик. В свое время талантливый музыкант, он в 1812 году у Наполеона играл первую скрипку в оркестре в Петровском дворце. Когда все бежали из Москвы, он должен был остаться около больной матери и затем поступить на службу к Наполеону. По окончании войны из уважения к его таланту его не отдали под суд,—болезнь матери послужила ему оправданием. (*Примеч. А. И. Шуберт.*)

окнами на улицу, направо поменьше комната Поляковых. В кухне спала Матрена Григорьевна, а наша комната была полутемная, выходившая единственным окном на галлерею, так что заниматься в ней нельзя было. Столовались из гостиницы Коста.

Только что мы въехали, явилась к нам жилица этого дома, еврейка корсетница. Мы в Москве евреев то и не видывали. Дама, щегольски одетая, интеллигентная, безакцента, пришла узнать, не нужно ли чего нибудь. Мы жаловались, что нам не нравится здешний пшеничный хлеб: мы привыкли к черному, а здесь его только можно было достать в казармах у солдат. Узнав, что сестра очень любит гречневую кашу, еврейка через несколько времени прислала своего ситного хлеба и кашу.

Устроившись понемногу, мы отправились с визитом к губернатору Ахлестышеву и директору барону Рено. Последний управлял итальянской оперой, до наших дел не касался, но все таки считался главным директором. Постепенно съехалась вся трупа, всего 14 человек, и с этим небольшим составом мы начали наши дела. В августе 1847 года, не помню, какого числа, мы открыли спектакль пьесой: «В людях ангел не жена» и водевилем «Три искушения». Успех был громадный.

Сестра, я и Шумский очень понравились, понравилась и вся трупа. Мы много репетировали и держались московских порядков. Пьески

шли небольшие, конечно, переводные: русского тогда не было, а «Ревизор» и «Горе от ума» с маленькой труппой были невозможны. Публика была цивилизованная, сдержанная. Сестра и Шумский, уже любимцы, играли как то водевиль в два лица «Путешественник и путешественница» и кончили при гробовом молчании. Когда опустили занавес, я слышала, как Шумский сказал сестре:

— Что, Прасковья Ивановна, какова публика? Прелесть! Тут спустя рукава нельзя играть.

Еще тут были вожаки, хорошего мнения которых мы добивались и боялись. То были Лев Сергеевич Пушкин [1]), умный остряк, Николай Петрович Ильин, уважаемый всем городом, профессор Мурзакевич [2]) и Ал. Ив. Соколов, заведывавший репертуаром. Они всегда сидели вместе и были нашими строгими судьями. Все было бы хорошо, но... начались интриги.

Шумский, еще очень юный, за 20 лет с чем нибудь, в Москве еще только подававший надежды,—в Одессе с каждым спектаклем вырастал на глазах публики. Орлов не мог этого перенести (вот уж именно чорт с младенцем связался), начал капризничать, швырять роли, ко всему придираться.

Вскоре после наших дебютов вышеупомянутое общество приехало просить нас сделать им честь

1) Брат поэта (1806—1852).

2) Мурзакевич Николай Никифорович (1806—1883), историк-археолог.

отужинать с ними в гостинице Оттона. Не угодно ли с нашими то московскими воззрениями? Не знаю, что им было сказано в глаза,— меня не было дома, но, вернувшись, я нашла зятя в разъяренном состоянии: как смели подумать приглашать его жену в трактир! Могут приехать пьяные, заплатить деньги, потребовать ту комнату, где будем мы, и выгнать нас вон.

— Сашка может итти: она девчонка, а моя жена—нет!

Я перепугалась, бросилась к Соколову, говорю:

— А что, если другие приедут и выгонят нас?

Соколов сказал:

— Успокойтесь. Ничего подобного быть не может. Верьте тем людям, которые вас приглашают.

Как уж это сделалось, кто повлиял на моего мужа, покорного слугу Орлова, но только мы с ним отправились. На вечере была вся труппа, кроме Орловых. Я сидела рядом с Пушкиным. Он был очень занимателен, весел, остроумен. Подробностей передать не могу; помню только, что я очень конфузилась. Было много посторонних, но я никого не знала.

Да, милые внучата, вы не испытали этой приниженности, в которой нас держали: вы народились в гуманный век, когда вам родители в глаза глядят, не знают, как и чем угодить.

Вот опишу еще эпизод со мной, замужней женщиной. Орловы мне купили шерстяное платье

грязно-зеленоватого цвета с красными цветами. Мне оно ужасно не понравилось, и я осмелилась высказать это. Орлов заорал на меня и отдал его Поляковой, которая была при этом. Муж мой также был тут. Я говорю, что платье возьму, потому что мне нечего надеть. Взяла, но Орлов у меня вырвал его из рук. Тут уж я не вытерпела, вспылила, начала ругаться, назвала его голоштанным дворянином. Орлов выгнал меня вон и не велел выходить из моей комнаты. Все обомлели. Обедать муж приносил мне в мою длинную, узкую темную комнату. Сколько времени я там просидела у себя на окне, уж не помню. Все уговаривали итти прощения просить. Скука были страшная. Я велела мужу носить меня на руках в комнату к Поляковым: значит, сами не выходили в столовую, а меня проносили. А чтобы съехать, жить своим домом,—ни мне, ни мужу в голову не приходило. Мы постоянно слышали, что мы оба глупы и нам нельзя жить своим умом. И мы этому верили.

Об эпизоде со мной, конечно, в городе все узнали. Знакомые, приезжавшие к Орловым с визитом, подходили и к моему окну, беседовали со мной. Было стыдно и неловко. Пошла прощения просить. Простили. Вот какая школа то была! Все терпелось, вынашивалось, а не стрелялись.

Губернатор, Д. Д. Ахлестышев, сделал нам большую любезность: предоставил безвозмездно

казенный дом на берегу моря. Мы должны были его отапливать и иметь свою мебель. На вечерние представления давались кареты от дирекции. Вообще все были к нам внимательны. Начальственного тона мы не слыхали, а любезное, вежливое обращение было так непривычно для нас.

В доме нас помещалось пять семей: внизу— Богдановы, Шумский и мы с мужем; верх занимали Орловы и Поляковы. Мы столовались у Орловых, Шумский у Богдановых, Поляковы отдельно. После репетиции у Богдановых подавали кофе, собирался кое-кто, было весело, но я не смела там бывать: запрещено Орловыми, которые были воинственно настроены против всех.

Как сделаться самостоятельной без поддержки? Муж тоже держал себя мальчиком. Тоска была ужасная. Помню, в бенефис сестры шел «Добрый гений». По возвращении с репетиции, она рассказала, что кто то из маленьких актеров запил. Роль состояла всего из нескольких слов, а хоть отменяй спектакль. Шумский не был занят в этой пьесе и успокоил сестру, сказав, что он с удовольствием выручит ее. Я невольно воскликнула:

— Какой голубчик Шумский! Как это мило с его стороны!

Порох вспыхнул.

— Неужели вы из одной утробы? Это не сестра твоя, а враг. Этому мальчишке только такие роли и следует играть. Куда он лезет?

Я возразила что то... Расправа короткая: за шиворот и за дверь.

Костюмных пьес мы не играли, а если случалось пейзанские, то мужчинам делались казенные, а нас просили делать самим и представлять счет в дирекцию. Первый костюм мне понадобился для водевиля «Любовные проказы». Сестра с Матреной Григорьевной сочинили его из старых сестриных тряпок и написали очень почтенный счет. Смешно вспомнить. Соколов и Богданов выбрали время для объяснения в присутствии сестры: она стояла на сцене в стороне, перед открытием занавеса. Они подошли ко мне со счетом в руках и стали разбирать его: «материал не новый и счет недобросовестный». Я растерялась, не знаю, что сказать; сама знаю, что украдено вдвое. Нет, нынешние дети лучше! Прямо бы сказали: «украли-с». А я была и правдива, и лукава, и вспыльчива, и смиренна. Точно воды в рот набрала, молчу...

Потом о свечах. Нам давалось в уборную по две стеариновых свечки. Бывало, Матрена Григорьевна привезет из дому огарки, а цельные домой увезет. У мужчин свечи остаются, а у нас нет. Надо сказать, что дирекция очень берегла казенные интересы; город давал мало на русскую труппу: большие траты шли на итальянскую оперу.

Дома от всех получила головомойку, что не умею себя держать и позволяю в глаза называть себя чуть не воровкой. Могу сказать, сча-

стлива тем, что ничего в жизни дурного не умела скрыть: вечно попадусь, как кура во щи. Струсила, не возражала, боялась плюху получить.

Кое как кончили сезон. Орловы решили уехать и мы все порадовались. Нас с мужем отпустили на полгода и надо было возвращаться. Написали, что я болею и мне нужны морские ванны. Дали отпуск еще на год.

Орловы уехали. После них уехала и Матрена Григорьевна. Я на нее смотрела, как на ведьму: черная, кривая, злая, все меня точила. Весь мой антураж тяготил меня. По отъезде Орловых я свободно ходила к Богдановым. Жена его, сестра М. С. Щепкина, очень умная и развитая женщина. Она первая заставила меня читать русские книги, укоряла, что только французские романы читаю. Кроме Пушкина, я никого не знала. Гоголя, конечно, ругала и на жизнь смотрела так: «день прошел и слава богу». Шумский много ораторствовал, но я плохо его понимала.

Вспоминаю легкое недоразумение. По отъезде Орловых мы столовались в гостинице. Как то нам задержали жалованье, мы не могли внести вперед за обед, и нам в один прекрасный день хозяин не прислал обеда. Муж рассвирепел, бросился в гостиницу и стал бить хозяина: как он смеет не верить. Тогда все сидевшие в гостинице из публики связали мужу руки назад; без фуражки повели его в полицию

и там оставили: «у нас не полагается, мол, драться».

Мне пришли сказать, что мой муж в полиции. Я испугалась и просила Шумского выручить его. Когда они оба возвратились, муж ревел, как мальчишка. На другой день мы пошли жаловаться губернатору Ахлестышеву. Я помню, он все время смеялся и старался втолковать, что здесь все равны, самоуправничать нельзя, а хозяин вправе верить или не верить. А мой опять в слезы.

— Как это меня, честного человека, в часть посадили?

Ахлестышев сказал, что хозяин согласен покончить дело тем, чтобы с моего мужа взыскать 150 руб. в пользу детских приютов.

Летом мы не играли, хотя и получали жалованье. Итальянская опера процветала, брала великолепные бенефисы, потому что летом был большой съезд поляков на морские купанья: за границу их не пускали. Мы с Шумским участвовали в 3-х итальянских бенефисах. К августу наша труппа пополнилась новыми лицами. Играли пустяки. Я и Шумский были общие любимцы.

В этом году Ахлестышев оставил Одессу (1849) и на его место прибыл А. И. Казначеев, очень добрый, но какой то бестолковый. Он настоял, чтобы пригласить вновь мою сестру. Она приехала, но без мужа, который оставался в Москве перестраивать дом, и все у нас в труппе шло тихо и смирно.

Пригласили харьковскую знаменитость, Соленика [1]). Это что то необузданное, горячее, ролей не учил, все своими словами. Когда играл со мной в водевиле «Ножка» ревнивого мужа, я думала, он искалечит меня, чуть не расплакалась. Не могу судить о степени его дарования, но своей энергией он притягивал зрителей. Помню, как он удружил Самойлову, который приехал к нам на пять спектаклей и произвел фурор. Самойлову не хотелось репетировать водевиля: он тоже ролей не учил. Вот он и говорит Соленику свысока, как столичный артист:

— Вы, голубчик, не стесняйтесь, говорите, что хотите, я сам говорю, что мне вздумается. Реплики не дожидайтесь.

Не помню названия водевиля, но Самойлов прекрасно играл в нем роль татарина, который надоедает хозяину дома, а тот его все выпроваживает. Соленик знал себе цену, ответил «слушаю-с» и во все время представления ничего не дал сказать Самойлову. Только тот рот разинет, а этот несет свое и выпроваживает. Так роль и пропала. По закрытии занавеса Самойлов спрашивает:

— Что же вы со мной сделали?

— Ничего. Вы ведь велели говорить свое, ну, я и говорил. По роли надо было вас выпроваживать, я выпроводил.

[1]) Соленик Карп Трофимович (1811 -1851), провинциальный актер огромного дарования. Видевший его в 1815 г. Т. Г. Шевченко находил его игру „естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина“.

Соленик пил запоем и недолго пробыл у нас,— уехал. В этом году уехал и Шумский. Он вел постоянную переписку со Щепкиным, и тот уговорил его вернуться в Москву.

Мне еще продолжили отпуск, но заявили, что эти года уж не будут считаться в пенсию. А мне возвращаться в Москву уже с двумя детьми на 300 руб. содержания было немыслимо.

По отъезде Шумского после поста приехал В. В. Самойлов без приглашения. Это смутило нашу дирекцию: не пригласить неловко, а платить надо много, финансы же были плохи. Создание русского театра в Одессе было делом нескольких людей, горячо желавших добра этому делу. Бывали и до нас провинциальные труппы, но в наследие оставляли то, что нас на квартиры не пускали и в долг обеда не доверяли.

Самойлов сыграл пять спектаклей. Не успе́л он уехать, приехала его сестра Н. В. Макшеева, тоже без приглашения. А пригласить надо! После нее уж по давнему приглашению приехали М. С. Щепкин и В. И. Живокини. Лето, жара, сборы упали. Надо знать, что тогдашний театр в Пале-рояле был маленький, как бомбоньерка. По отъезде столичных гостей не было интересу смотреть на нас. Дела дирекции трещали. В это время в Одессу приехал Гоголь. Я увидала его первый раз у Богдановых, куда его пригласили на малороссийскую сливянку. Он мне очень не понравился своим напыщен-

ным тоном. Я привыкла к поклонению и обожанию, а он очень резко сказал:

— Возьмите у нее сливянку, так много нельзя, это очень крепко.

Я обиделась и ушла в другую комнату, и он никакого внимания. (Какова дура!?) Не знаю, о чем он беседовал, все его слушали с подобострастием. Узнав, что я даю в свой бенефис (1852 г.) «Школу женщин», он выразил желание прочесть ее нам вслух и читал прескверно: со стихом не ладил. Был на нескольких репетициях и каждый раз присутствовал в губернаторской ложе [1]).

В этом году произошли перемены в театре. Соколов переехал в Петербург, театр подпал под ведение барона Рено. Кое-кто не сошелся с дирекцией. Сестра уехала в Петербург и там поступила на службу. Надо было подновить труппу. Барон поехал в Петербург и пригласил Левкееву и Боченкову, а из Москвы Медведеву и Сабурову. Дамы все очень понравились: все были балетные и, кроме драматических и комических ролей, прекрасно танцовали. Среди публики образовались три партии: Медведисты, Левкеисты и Шубертисты.

Опишу премилый эпизод, как меня почтили севастопольские моряки. Летом, в один из спектаклей, я играла свою любимую роль «Пансионерку». По окончании вызывают. Выхожу. Вдруг отовсюду, со всех концов театра, посыпался

[1]) В дате А. И. Шуберт ошибается: Гоголь жил в Одессе зимою 1850—1851 г., уехал он из Одессы в апреле 1851 г., а в начале 1852 г. (21 февраля) он скончался.

дождь маленьких букетиков, перевязанных морским канатом. Я ни одного моряка не знала. Знакомая молодежь в креслах только руками разводит; никто ничего не понимает. Летом приезжает эскадра в Одессу; отдыхать ли, или для маневров, уж не знаю. Наша молодежь сказала, что в театре три партии, к которой они пристанут? Моряки ответили:

— А вот прежде посмотрим и решим.

Вот в этот спектакль и решили, кто им больше всех понравился. Потом пригласили нас на пикник на корвете. Погода чудная, ясная, только маленькая зыбь. Забыть не могу этой муки, все время тошнило. Жалко было милых, внимательных хозяев. Никого из них лично не помню. Сложили, вероятно, они головушки в Севастопольский разгром.

О войне поговаривали, но офицерство наше смеялось, что это — чушь: Севастополь нельзя одолеть.

Меж тем хозяйство мое шло ужасно, я ничего в нем не понимала. Роскоши никакой не было, но долги росли от безалаберности. Покровители бы нашлись, но у меня был свой взгляд: я была брезглива. А. И. Казначеев принял во мне участие, написал сестре, что меня надо вырвать отсюда, помочь выйти из долгов и выслать на дорогу. Я и сама была рада вырваться и в 1853 г. великим постом выехала из Одессы. Неприятель уже придвигался и Богдановы встретили Пасху в подвале, под сводами: началась бомбардировка [1]).

[1]) И здесь ошибка в дате: бомбардировка Одессы происходила весною 1854, а не 1853 г.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Переезд в Петербург.—Возвращение в 1853 г. на Александринский театр.—Успехи по сцене.—Директор театров Гедеонов.—Спектакли в театральной школе.—Репертуар 1853—56 г.—Первые постановки пьес Островского. — Отношение к театру императора Николая Павловича. — Гастроли в 1854 г. Рашели. — Духовные чтения у сестры П. И. Орловой. — Литературные знакомства: И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. Ф. Писемский, А. Н. Майков, С. П. Жихарев, генерал М. А. Марков. — Кончина императора Николая Павловича.— Смерть мужа

Приехала в Москву полубольная, остановилась в номерах и тотчас же поехала к М. С. Щепкину. Он очень обрадовался и требовал, чтобы я переехала с детьми к нему. Я сказала, что теперь вполне завишу от сестры, я ей многим обязана, как она хочет.

— Но ты потеряешься в громадном Александринском театре, а на маленькой сцене, как наш Малый театр, ты—сокровище.

Я сознавала, что все это правда, но не в моей власти было распоряжаться собой, да и с деньгами боялась не справиться. Через два дня приехала сестра и увезла в Петербург.

В Петербурге мне наняли на время комнату от жильцов. Сестра с маменькой жили на хле-

бах у вдовы актера Третьякова. Потом Третьякова съехала на другую квартиру, сестра взяла все помещение, и я переехала с детьми к ней. В это время петербургский театр понес большие потери. Умерли Каратыгин, Брянский, Гусева [1]). Вера Самойлова оставляла сцену. Она выходила замуж за полковника Мичурина. В то время жены военных не могли быть на сцене. Император Николай Павлович благоволил к Самойловой, жалел, что она покидает сцену.

Мне передавали, что она ему сказала:

— Ваше величество, от вас зависит, чтобы я осталась. Дайте мужу какое нибудь место по гражданской части.

— Не могу, Вера Васильевна, хороший полковник мне дороже всяких талантов.

С Каратыгиным умерла и трагедия. Между прочим говорили, что Каратыгин похоронен в летаргическом сне. Все удивлялись, что при его огромном росте он в гробу не удлиннился. Я скажу, что слышала впоследствии от одной немки, няньки при моих детях. Она рассказывала, что сама была в то время на кладбище, как рыли яму на могиле для памятника и видела перевернутый гроб. Лгать ей незачем [2]).

Поехали с сетрой представляться Гедеонову. Он встретил меня сухо. «Ах, какая маленькая!

[1]) Брянский Яков Григорьевич (1790—1853), известный петербургский актер, отец писательницы Головачевой-Панаевой.—Гусева Елена Ивановна (1787—1853), комическая актриса; умерла на сцене во время игры.

[2]) Отголоски весьма распространенной в свое время легенды, опровергаемой братом В. А. Каратыгина, П. А. Каратыгиным

Что она будет играть!» (А мне еще купили большие внутренние каблуки.) Сестра умоляла позволить мне дебютировать. Большого ей труда стоило упросить Гедеонова: он тоже хотел оставить меня в Москве.

После святой я вышла в «Пансионерке» и в водевиле Федорова в два лица «Нет действия без причины». Играла с Мартыновым. Шла я на дебют как то апатично, думала только о том, как бы пристроиться. И нередко, в продолжение моей скитальческой жизни, при нескончаемых дебютах на меня находила отчаянная апатия. А вышла на сцену и вдруг оживилась: мне стало весело, свободно, я играла как бы в свое удовольствие. Успех, о каком и не мечтала! Знакомства никакого, поддержки ни откуда, просто увлекла публику своей жизнерадостностью. И так дело пошло на лад. Играла разные водевили: Фаншет, кошку Скриба, крысу, чертенка и тому подобные пустяки. Островский только что появился, и то при упорных хлопотах Бурдина [1]). «Не в свои сани не садись» первые сюжеты отказались играть, как «мужицкую» пьесу.

Обставили молодыми силами и второстепенными. Весь репертуар несла Н. В. Самойлова с своим прекрасным пением. Жулева [2]), уже статская советница, по приказанию мужа уча-

[1]) Бурдин Федор Алексеевич (1825—1887), актер, переводчик и литератор.

[2]) Жулева Екатерина Николаевна (по мужу—Небольсина) (1830—1905), актриса.

ствовала только в драмах, а в водевилях чин не позволял выступать. Из милой, живой, симпатичной, тоже с недурным голоском, предстала трагическая мумия, и так она маялась несколько лет, пока не перешла на комических старых барынь.

Традиций не было никаких, играли всяк за себя, по обязанности. Было тоскливо, бессодержательно, тосковала я по Москве. Мартынов в это время очень кутил, еще не дошел до переворота к серьезному, не учил ролей и являлся навеселе. Гедеонов стал благоволить ко мне после моих дебютов и говорил всем, что в Красном Селе я буду иметь большой успех. Но, увы! так и не удалось блеснуть в Красном Селе. Я и так приехала полубольная, все прихварывала и, наконец, заболела нервной горячкой, была между жизнью и смертью. Поправилась я к осени, играла бритая, в парике. Интерес новости ко мне потерялся, и я играла всякую французскую дрянь. Сергей Иванович Турбин [1], полковник генерального штаба, любитель театра, незнакомый мне, написал комедию «Картинка с натуры». Ему нравилась моя естественность и простота на сцене, он и написал роли мне, Мартынову и Максимову. Пьеса имела большой успех и не сходила с репертуара. До сих пор я получала только 500 руб. Мне прибавили, и я стала получать 700 руб., 3 руб. разовых и бенефис.

[1] Турбин С. И. (1821—1881), поэт и драматург.

В это время произошла перемена в начальстве. Репертуаром заведывал Евгений Макарович Семенов, он же был и секретарем директора, знал и ведал все хозяйственные беспорядки. Гедеонов сам его побаивался, хотя Гедеонов взяток и не брал, но через Макарыча пользовался казенными деньгами для игры в карты. Сам же Семенов был взяточник. Московский актер Черкасов сам мне рассказывал, как он выхлопотал себе прибавку за три года до пенсии, т. е. 1143 руб., выше которой тогда пенсии не давалось. Он прежде переписывался с Петербургом, а потом у кого то в магазине взял на прокат серебряный вызолоченный портсигар и приехал с ним в Петербург. Явился не в урочный час к Евгению Макарычу, того не было дома. Черкасов очень сожалел, ушел, но лакею нашел нужным показать портсигар. На другой день, когда он явился к Семенову, тот поздравил его с прибавкой, т. е. со старшим окладом, уже подписанным директором. Черкасов с чувством благодарил его, но портсигар отдать нашел лишним, а, вернувшись в Москву, возвратил его в магазин, уплатив за прокат. В то время, как я была больна и не играла, с тем же Макарычем произошел важный скандал в Красном Селе. Левкеева, женщина обеспеченная, подарила Семенову часы. Этого никто не мог бы и знать. Но случилось следующее. В Красном Селе для артистов был табль-дот. За ним присутствовали и некоторые из военных. Вдруг Левкеева громко

говорит Семенову: «вы что же для меня не ставите такую то пьесу, как я вас уж просила? Не думаете ли, что я подарила вам часы ради ваших прекрасных глаз?»

Так все и обмерло.

На другой день Семенов при всех возвратил ей часы. Этот то Семенов одолел и моего брата. Сам Гедеонов в это время тоже еле держался на месте. В 1853 г. государь Николай Павлович внезапно посетил школу и воочию убедился, что там ужасные беспорядки, слухи о которых уж до него доходили. Его посещение описано Соколовым в «Театральных болотах». Управляющий конторою, заведующий сборами и хозяйственной частью тотчас вылетели, а Гедеонову дали только справить 25-летний юбилей его директорства. На его место назначили Сабурова, очень богатого человека, но совершенно необразованного. Просили его, например, разрешить сумму на постановку пьесы Островского.

— Кто такое Островский? Стоит ли он, чтобы делать расход?

Правил недолго, вышел скандал из-за какой то воспитанницы и его уволили. Новый начальник репертуара Федоров, из почтамтных чиновников, был близок к театру, потому что переводил и писал пьесы. Он был милый, сердечный человек, запросто сошелся с артистами, принимал у себя, без церемонии бывал у некоторых, в том числе и у моей сестры. Меня очень любили и он и его жена; я бывала у них чуть не каждый

день. Но потом, как достиг он рокового генеральского чина, так и преобразился. Что мудреного, как не зазнаться в этом чине, когда только и слышишь кругом напев: «Ваша речь есть истина святая. Ничего умней я не слыхал».

Кстати помещу маленький эпизод. Пришел ко мне как то Островский и по какому то поводу сказал:

— У нас, как произведут в генералы, так у человека делается размягчение мозгов.

А я в это время сама уже была генеральша и говорю ему шутя:

— Поосторожнее выражайтесь: я сама генеральша.

А он:

— Это, сударыня, до вас не касается, вы не своим умом до этого чина дошли.

У сестры начались по субботам духовные чтения. Читали проповеди Филарета и Иннокентия[1]). Присутствовали: брат Третьяковой, Сомин, воспитатель сыновей министра Дашкова[2]), его приятель Теплов, мой брат и какой то диакон. Сомин пользовался почетом, как девственник и постник, что однако не помешало ему признаться мне в любви; впрочем, он не требо-

[1]) Иннокентий, архиепископ Херсонский (1800—1857 г.),ученый богослов и писатель.

[2]) Министром (юстиции) был Дмитрий Васильевич Дашков (1784—1839), писатель, член „Арзамаса“) (к нему обращено стихотворение Пушкина „Мой милый друг, в стране“...) Как указано выше, он умер в 1839 г. и поэтому, если автор воспоминаний не смешивает его с другим Дашковым, слова: „воспитатель его сыновей“ должны быть отнесены к прошлому времени.

бовал взаимности, а только высказал мне, как он страдает.

Очень им хотелось втянуть меня в эту компанию, но я избегала. Архиерей Сомин (как маменька прозвала) успокаивал брата и сестру, говоря, чтобы меня не принуждали: я так умна, что сама приду к ним. Я и пришла, только когда в эту компанию попал Алексей Петрович Стороженко[1]), веселый хохол, знакомый сестры по Киеву, где она играла проездом из Одессы. Тогда он был адъютантом при генерал-губернаторе Бибикове[2]), а теперь был чиновником особых поручений при том же Бибикове, уже министре внутренних дел. Не долюбливала я его за его рассказы о том, как они с Бибиковым тиранили поляков. Приедет какой нибудь пожилой магнат или пан по делу, не умеет объясняться по русски, и его держат и не выпускают до тех пор, пока он не выкупится. Мне эти рассказы были противны.

А. П. Стороженко привозил к сестре на чтения некоторые заграничные издания и Герцена. Ну, конечно, я была уж тут и, прочтя 2—3 проповеди вслух, принималась за светское чтение. Беда, как наши святоши возмущались! Когда же не было светского чтения, то я с маменькой занималась кормлением гостей. Маменька предпочитала чтению игру в преферанс.

[1]) Стороженко А. П. (1805—1874 г.), украинский и русский писатель.

[2]) Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870 г.) ,генерал, киевский ген.-губернатор, впоследствии управлял министерством вн. дел.

Она была религиозна, но как то просто, не свысока.

При Федорове в 1854 году на школьные спектакли в первый раз стали приглашать литераторов. Появились Греч, Гр. Соллогуб, Писемский, Майков, Никитенко[1]) и др. Греч познакомился с сестрой и сделался ее горячим поклонником. Стал бывать у нас, познакомил сестру с супругами Глинками, Панаевым (дядей), Княжевичем[2]). Бывали еще Арапов, Марков[3])— все древние старички. Духовные чтения прекратились.

Приезжал в это время М. С. Щепкин на несколько представлений. Он привел ко мне, в квартиру моей сестры, Краевского, Тургенева и Дружинина[4]). Сестра просила их бывать у нас, назначила субботы. В следующую же субботу приехали Тургенев с Григоровичем. Я по своей глупости сказала Тургеневу, что мне не нравится, зачем он в своих сочинениях вдается в описания природы: это очень скучно читать, и я

[1]) Греч Николай Иванович (1787–1867), журналист, писатель, педагог.—Гр. Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882), известный писатель.—Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), известный поэт.—Никитенко Александр Васильевич (1804(?)—1877), писатель, автор замечательного „Дневника“.

[2]) Супруги Глинки: Федор Николаевич (1786—1880), писатель, и жена его Авдотья Павловна, урожденная Голенищева-Кутузова (1795–1863) — писательница.—Панаев Владимир Иванович (1792—1859), поэт. — Княжевич Александр Максимович (1792—1870), впоследствии министр финансов.

[3]) Арапов Пимен Николаевич (1797—1861), драматург и летописец русского театра.—Марков Михаил Александрович (ум. в 1876 г.), генерал, писатель.

[4]) Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), беллетрист и критик.

всегда пропускаю. Наше знакомство не упрочилось. Тургенев вскоре уехал за границу, а Григорович со своим острым языком смеялся над нашей беседой, что дошло до брата. Он и маменька решили, что одиноким молодым женщинам не следует приглашать к себе мужчин. Так мы и остались со старичками.

В этом же 1854 году приезжала Рашель[1]) со своей труппой. В первый раз я ее видела в Марии Стюарт. Она меня поразила. Я видала трагедии в исполнении Каратыгина, Брянских—они все декламировали. Она—тоже, но у нее во время декламации вырывались фразы, сказанные просто, натурально, скороговоркой,—это было ново. Басовой, почти металлический голос страшно действовал на нервы. Самойлов не признавал ее, потому что у нее все рассчитано заранее и всякий раз те же позы и жесты.

На Мартынова она иначе подействовала. Он увидал ее в Марии Стюарт и ревел от восторга, слезы градом лились из его глаз. Я ее видела почти во всех пьесах из за кулис. Мне хотелось выразить ей мой восторг, но я не знала как. Во время представления «Горации и Куриации» я стояла в одной кулисе с m-me Вольнис[2]), нашей лучшей французской артисткой, уже пожилой. По окончании пьесы Вольнис подошла к Рашель, взяла ее за руку и поцеловала эту

[1]) Рашель (1821—1858), знаменитая французская артистка. В Петербурге играла осенью 1853 г., в Москве—в начале 1854 г.

[2]) Вольнис (1811—1876), известная французская артистка.

руку, сказав: «Merci, merci, mon enfant!» Я тоже с восторгом приложилась к этой руке. В бенефис Мартынова она играла у него сцену свидания королевы из Марии Стюарт. Мы украсили ее уборную цветами, но она просила убрать душистые,—они действуют ей на нервы. По окончании акта Н. В. Самойлова и я поднесли ей венок от общества русских артистов. В Москве она познакомилась с М. С. Щепкиным и подарила ему свой портрет с надписью: «Les artistes sont tous les compatriotes» [1]).

Севастопольская война была в самом разгаре, и на сцене появились патриотические пьесы. Сборы полные, восторги публики ужасные! «Синопское сражение» Кукольника вся семья царская перевидала, кроме самого царя. А между тем, слухи доходили о войне нерадостные; восторги стали охладевать, сборы упадать. Вдруг в одно из представлений «Синопского сражения» совершенно неожиданно приехал царь, один, сердитый и уж больной, сильно кашлял. Суматоха сделалась страшная. Сейчас дали знать в раек и в места за креслами, чтобы сильнее восторгались и больше хлопали. Царь не досмотрел пьесы и уехал.

Летом мы переехали на дачу в Кушелево-Безбородко. На набережной был красный каменный дом, в нем жило какое то английское семейство, которому почему то разрешили

[1]) Все артисты—соотечественники.

остаться в Петербурге. Мы занимали деревянный флигель в том же парке. Дети мои сдружились с детьми англичан, вместе играли, бегали, до тех пор, пока мои три мальчика 6—4 лет не вздумали играть в войну.

Местность была сырая, лягушек пропасть, и мои дети шли с палками войной на них: «Идем бить англичан!» В то время они наслышались про войну, а англичан вообще все бранили. Вышло неловко, и англичан отдалили от моих детей.

В сентябре этого года приехала из Москвы купчиха Ланина, старинная знакомая сестры, и с ней еще какая то, фамилии не помню. Мы поехали с ними в Царское Село. Гуляя возле дворца, мы встретили в коляске наследника, Александра II с женой и тремя сыновьями. Мальчики были одеты в красных рубашках, поддевках и кучерских шляпах с павлиньими перьями.

Мы остановились. Наследница с детьми прошла во дворец, а наследник подошел к нам: он узнал сестру. Она незадолго до того отличилась в пьесе Кукольника «Костров», играя роль Голендухи, и получила за нее бриллиантовый фермуар. Наследник милостиво разговаривал с сестрой и предложил осмотреть свое новое помещение во дворце, которое устроил для него император Николай. Он поручил Олсуфьеву показать его нам.

Олсуфьев [1]), который был знаком с сестрой и зятем еще в Москве, проводив наследника,

[1]) Вероятно, гр. Олсуфьев Василий Дмитриевич (1796—1858).

залюбовался мною: «Какая хорошенькая дочка у Орловой». Я была бритая после болезни, в белом чепчике, шляпке и казалась очень моложавой, а уж мне было около тридцати лет! Мы осмотрели дворец и даже китайскую гостиную, с дозволения наследницы. Можно представить восторг наших купчих от такой прогулки!

В эту зиму во дворце был любительский спектакль. Играли царские дети Николай и Михаил Николаевичи и придворные. Давали пьесу В. А. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Режиссером был у них П. А. Каратыгин (брат). К этому времени относится следующий анекдот. Каратыгин славился своими остротами и великий князь Михаил Павлович—тоже. На репетиции великий князь что то сострил, государь Николай Павлович и говорит:

— Каратыгин, он у тебя хлеб отнимает.

— Ничего, ваше величество, соль при мне осталась.

Пьесу при дворе сыграли с большим успехом, и все возымели желание посмотреть, как играют настоящие актеры. Назначили вдруг, без репетиции. Пьеса давно не шла, ролей подучить не успели.

Григорьев и Мартынов, игравшие отца и сына, наскоро за кулисами прочитывали роли, ругались, забыв, что они присяжные актеры императорского двора: «Проклятые, нечего им делать, только людей мучат!» Я, игравшая «Катю из Тамбова», совсем растерялась.

Театр был полон. Государь присутствовал со всем семейством.

Мы все были хуже всякой посредственности. Уж не с умыслом ли это?

Все высокие артисты-любители уехали с убеждением, что они—лучше нас.

В театральной школе, как и прежде, спектакли шли в присутствии высокопоставленных лиц и литераторов. Министр Адлерберг аккуратно посещал спектакли со своими сыновьями. Один из них был слепой и ходил всегда под руку с молодым человеком, красавцем вполне, по фамилии Аттель, я его в министерской ложе видала. Впоследствии я встретилась с ним, как с провинциальным актером Ральфом. Аттель был побочный сын графа Литты[1]), завещанный отцом на попечение Адлерберга, с большим состоянием. Он воспитывался в доме Адлербергов, его обобрали, женили.

Жена тоже помогала его разорению. Потом они разошлись. Не знаю, как уж он попал на провинциальную сцену под именем Ральфа. Он был очень талантлив. По какому то недоразумению он женился второй раз от живой жены и попал под суд. Я встретила его в последний раз в Нижнем, где он находился под домашним арестом. Потом он стал очень пить и скончался.

В школьном театре выделялась в это время особенно Фанни Снаткова своей грацией и за-

[1]) Гр. Литта Юлий Помпеевич (1763—1839), поборник католицизма в России.

душевностью. К сожалению, она недолго оставалась на сцене. Малышев и Шамаев были вполне премьерами школьной сцены. Первому по выходе из школы почему то не повезло, он стал пить, опустился и совершенно стушевался.

На Шамаева возлагались большие надежды: он своей тонкой, обдуманной игрой напоминал Шумского. Но его, с большого ума, выпустили прямо в Фамусове. Он, конечно, по молодости лет и худощавой наружности, не справился с ролью. А у нас при малейшей неудаче никто не подумает поддержать человека. Кому какое дело? Театр казенный, живи и получай жалованье!

Вообще, дирекция делает худо, что развивает их силы в миниатюрном школьном театре, а не в котором нибудь из настоящих театров. И какие судьи их смотрят? Высокопоставленные волокиты, которые во время драматических пьес дремлют и зевают, а во время танцев просыпаются и начинают ржать.

Танцовщицы в то время отличались талантами. Воздушная Муравьева[1]) была выше всех. Это было что то неземное. Плакать хотелось от умиления, когда она танцовала.

В 1854 г. Яблочкин оставил режиссерство и на его место единодушно был выбран Е. И. Воронов[2]). Актер плохой, но режиссер замечатель-

[1]) Муравьева Марфа Николаевна (1838—1879), талантливая танцовщица, с большим успехом выступавшая, между прочим, в Париже.

[2]) Воронов Евгений Иванович (умер в 1864 г.). Ученик П. Каратыгина.

ный, честнейший и справедливый. Воспитанный в театральной школе, он был один из образованнейших людей того времени; много читал, переводил. К своему делу относился он старательно. Например, в народных сценах добровольно костюмировался и ходил в толпе, чтобы подстрекать народ и придавать жизнь. Многое, однако, было не в его власти: на обстановку дирекция была скупа, пьес тоже не было.

Только Мартынов блеснул в это время в роли Мишаньки «Чужое добро в прок не идет» Потехина, да изредка позволялся Островский и то при сильном содействии Бурдина. Бурдин был горе-актер, но человек умный, развитой, сочувствующий новому веянию.

Где и как он сошелся с Островским, не знаю, но он упорно проводил его пьесы. А то мужицкими пьесами здешние артисты пренебрегали, что уже упомянуто мной при постановке пьесы «Не в свои сани не садись».

— Помилуйте,— говорили,—герой пьесы—Любим Торцов, пьяница. Что же это за направление?

Купеческие типы, столь близкие Москве, были недоступны пониманию петербуржцев. «Бедная невеста» из чиновничьего быта показалась скучна и провалилась, а ее и разыграть не умели. Кроме Линской, которая после долгого перерыва снова появилась на сцене и играла Хорькову, все ходили, как тени.

А. Н. Островский был очень мягкого, деликатного характера и поневоле отдавал лучшие

роли Бурдину, а у того страсть играть была смертная, а участь горькая. Жару, огня—бездны, но все это несуразно, нехудожественно, грубо.

Приняли в это время красавицу Рулье, которая считалась образованной, потому что говорила на трех языках. Шутка ли? Она была, однако, совсем дура: красива, но бестолкова. Ей протежировал Адлерберг. Все приняли участие, учили ее, но ничего не вышло. Островский рассказывал, как она приставала к нему, чтобы он позволил ей в Василисе Мелентьевой распустить волосы в последней сцене с Грозным.

— Посмотрите, какая у меня коса.

Правда, коса покрывала ее чуть не до пят.

— Не могу, сударыня. Мелентьева замужняя женщина, а у русских женщин считалось позором опростоволоситься.

Кажется, она его не послушалась.

П. И. Григорьев разразился новой пьесой «За веру, царя и отечество». Страсть, какая патриотическая! С куплетами на тему, как мы французов шапками закидаем и «будем ловить красных раков на мели». Экземпляры этого произведения продавались в пользу раненых. На денежную помощь раненым отозвались московские артисты. Все служащие в московском театре, до плотников и чернорабочих, все прислали деньги.

Петербургская контора задержала бумагу и дала знать по нашей труппе, чтоб и мы собирали деньги. А самим нам и в голову бы не

пришло. Мы все еще находились в упоении славы Синопского сражения, хотя английский флот уже стоял в виду Кронштадта.

В этом же году я переехала с детьми от сестры на отдельную квартиру. Муж мой служил в Харькове.

Бывая часто у Федоровых, я познакомилась там с военным доктором С. Д. Яновским. Он служил в министерстве внутренних дел советником департамента врачебных заготовлений и в 36 лет был уже статский советник. Федоровы его очень расхваливали. Он был красив собой, очень красноречив и его прозвали «курским соловьем». Он только что вернулся из Бухареста, куда ездил в командировку, и был au courant всех новостей. Мы все заслушивались его рассказами о войне и нашей непобедимости. Помню, он за ужином на столовых приборах показывал наглядно, как неприступен Севастополь, и говорил, что взять его невозможно. Мы так и развесили уши. Глядя из окна на проходящих гвардейских солдат, хорошо накормленных и подобранных под рост, он восклицал с энтузиазмом:

— Эти пошлые французишки с англичанами надеются победить таких красавцев!

А эти красавцы и на войне то не бывали.

— Николай Павлович — великий император! Он с начала своего царствования каждый год из каких то источников (не помню) откладывал сумму на случай войны и теперь у нас денег—видимо-невидимо.

Яновский преклонялся пред Николаем. Николай, по его мнению, уже одним тем велик, что выстроил железную дорогу из Москвы в Петербург и постоянный мост через Неву.

В 1848 году Яновский бывал в кружке Петрашевского[1]), где познакомился с А. Н. Майковым, Достоевским и Плещеевым[2]). Он ругал Петрашевского, называл интриганом, извлек из его кружка Майкова и тем спас от погрома, разразившегося над этим кружком.

В это время Майков написал стихотворение «Корабль», от которого потом отказался. Оно было у Яновского, я знала его наизусть, но запамятовала.

Майков, добрый, но бесхарактерный, подпал под влияние Яновского, показывал ему черновики своих произведений, советовался, печатать ли их, и понемногу сошел на застольного.

С Майкова и его жены началось знакомство с молодой литературой того времени. Майков привел своего родственника А. Ф. Писемского. Потом появился Потехин в ополченском наряде; Дружинин, который приходил благодарить меня за удачное исполнение роли в его пьесе «Не всякому слуху верь». У Писемских собирался

[1]) Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1819—1867), стоял в центре политического кружка, члены которого (в числе их были Достоевский, Плещеев, Ахшарумов и др.) интересовались социалистическим учением, изучали его и обсуждали положение России под углом зрения социализма. Многие из числа петрашевцев были приговорены к смертной казни, замененной затем (перед самым приведением приговора в исполнение) другими наказаниями. Сам Петрашевский умер в Сибири.

[2]) Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), известный поэт.

весь литературный кружок того времени. У них я встретила В. П. Боткина[1]), познакомилась с И. А. Гончаровым, А. А. Григорьевым[2]). С последним познакомилась по такому случаю.

Я что то рассказывала. Вдруг подбегает ко мне господин в поддевке и говорит:

— Голубушка, да вы—красненькая! Приятно познакомиться.

Здесь же встретила я П. И. Вейнберга[3]), тогда еще юного, и приветливых, грациозных старичков Майковых[4]), родителей А. Н. Они и Писемские жили тогда в одном доме, против Юсупова сада. Писемский был достаточный помещик и жил хлебосольно; Майковы—очень скромно: старики жили на небольшую ренту. А. Н.—литературным трудом, тогда еще он не был цензором.

Валентина Николаевича[5]) я уже не застала в живых, Леонид[6]) был еще студентом. Из старых литераторов я познакомилась с некоторыми еще у сестры. Н. И. Греч был как бы во главе, дирижировал этим старческим синклитом. В. И. Панаев, секретарь министра Адлерберга, похо-

[1]) Боткин Василий Петрович (1810—1869), писатель, тонкий знаток и ценитель искусства.

[2]) Григорьев Аполлон Александрович (1822—1874), знаменитый критик.

[3]) Вейнберг Петр Исаевич (1830—1908), писатель.

[4]) Отец поэта Майкова, Николай Аполлонович (1794—1873), был художник.

[5]) Ошибка: автор имеет в виду, очевидно, Валериана Николаевича Майкова (1823—1847), критика-теоретика.

[6]) Майков Леонид Николаевич (1839—1900), академик, историк литературы.

дил на маркиза 18-го столетия: с изысканными манерами, в паричке, светлом галстухе, живой и юркий.

П. Н. Арапов, полненький, низенький, тоже изысканно любезный.

Страстный поклонник трагедии М. А. Марков, полный генерал с густыми эполетами. Он сам писал для сцены, отлично декламировал, меня учил, как передавать басни Крылова. Он занимал место помощника Ростовцева[1]) по военно-учебным заведениям.

Ф. Н. Глинка, маленький, сухонький старичек, очень скромный, неразговорчивый; зато супруга его Авдотья Петровна была очень авторитетна, говорила громко, азартно, ругала Герцена!

— Какое ему дело до России, ее направления? Святая Русь сама собой исправится. Да я напишу ему!

Кажется и исполнила свое намерение («письмо русской дамы») [2]).

А. М. Княжевич, хотя не писатель, но близкий человек всей этой компании.

Еще здесь присутствовала княгиня Шаховская, очень бедная женщина. Эта—больше насчет святыни и чудес. В «Колоколе» была она прописана, как принадлежащая к тайной полиции.

[1]) Ростовцев Яков Иванович (1803—1860), генерал, участник крестьянской реформы 1861 г.

[2]) Указание верное. А. П. Глинка обращалась к Герцену с письмом, в котором старалась обратить его в христианскую веру. Герцен отвечал ей в „Колоколе“ в начале 1859 г. обширным письмом, это и был знаменитый „Ответ русской даме“.

Вся эта компания ныла и стонала о падении современных нравов. По их мнению, «все чем то волнуются, ничем недовольны оттого, что грехов много, совесть нечиста». Жестоко доставалось от них Краевскому, как вожаку этих недовольных.

Генерал Марков рассказывал, как Краевский вылетел у него в 24 часа с места. Краевский в молодости давал уроки в корпусах, или в корпусе, уже не помню. «А у меня, надо вам сказать, говорил Марков, в каждом корпусе есть благонадежные юноши, которые тайно мне доносят обо всем. Что же изволил этот господин проповедывать в одном классе? Что император Николай Павлович ничем не замечателен и ничего не сделал для России! Каково!!? Сейчас же я его сплавил, без всяких разговоров!!».

Передаю, что сама слышала. Строженко тоже бывал на этих вечерах и ввел туда Жихарева [1]). С. П. Жихарев, большой умница, очень образованный и сведущий, особенно в сценическом исполнении, принадлежал к литераторам 20-х годов. У него есть «Записки студента», «Записки чиновника», очень живо написанные, составляющие ныне библиографическую редкость. Это был господин среднего роста, сутуловатый, с взъерошенными кверху волосами, с проседью, совершенно черным цветом лица и мефистофельской наружностью. Его биографии

[1]) Жихарев Степан Петрович (1787—1860), автор замечательных мемуаров.

я не знаю, кто он? где служил? Вращался он в кругу артистов того времени и был свой человек в семье министра Адлерберга. Беден, как церковная крыса, всегда в поношенном сюртуке. Репутации он был не важной.

От М. С. Щепкина я слышала известный, где то напечатанный анекдот.

У кого то в гостях известный Толстой-американец [1]) указал на Жихарева и спросил кого то при всех:

— Что, черен?

— Да.

— А ведь блондин перед душой.

В то время большая сила была Минна Ивановна, известная фаворитка Адлерберга, которая раздавала места и ордена. Шутники говорили тогда, что у нас три министра: один Долгорукий (военный министр)[2]), другой—безрукий (министр внутренних дел Бибиков), а у третьего мина нехороша (Адлерберг).

Вот что рассказывал однажды Жихарев. Двум очень замечательным лицам Минна доставила какие то награды или повышения, уж не помню. Они сговорились ее благодарить. Как ехать? в полной амуниции или сюртуках? Решили запросто, в сюртуках. Увы! одновременно столкнулись оба во всех орденах и регалиях. Рассказывая это, Жихарев хохотал своим мефистофельским смехом.

[1]) Гр. Толстой Федор Иванович (1787—1846), был известен своими похождениями и приключениями.

[2]) Кн. Долгоруков Василий Андреевич (1804—1868); военным министром был с 1853 г.

Адлерберги были очень бедны, семейство громадное, они нуждались, занимали деньги, где только можно, продавали места за известную сумму. Жихарев вел и теперь свои записки, но, когда он умер, Адлерберг тотчас приехал сам и забрал все его бумаги.

В 1855 году 18-го мая скончался император Николай. Хотя все знали, что он болен, но надеялись, что вылежится, благодаря своему атлетическому сложению. Петербург заволновался. все охали, ахали; говорили, что каково принять бразды правления после такого колосса.

Я глаз не осушала. Накупила портретов, статуэток, окружила себя ими.

На похороны я не ходила. Народу, конечно, была пропасть, сидели и на крышах. Потом рассказывали, что какой то мужик, сидевший с женой на крыше, сорвался и разбился до смерти.

Театр закрыли на полгода. Мы, как принадлежащие к дворцовому ведомству, оделись в глубокий траур. Сестра воспользовалась свободным временем, уехала сестрой милосердия в Симферополь. Так ей посоветовали ее чиновные друзья, чтобы потом выхлопотать зачет московской службы в пенсию, что и совершилось. На возвратном пути она сговорилась с моим мужем, Мишей Шуберт, ехать вместе в Петербург. Дорогой он захворал тифом и скончался в городе Кромах, где и похоронен.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Выход замуж за С. Д. Яновского.—Нравы крепостного быта. — Первый бенефис. — Участие С. Д. Яновского в деле раскрытия злоупотреблений с врачебными заготовлениями во время севастопольской войны.—Его командировка на юг России для производства ревизий.— Поездка с мужем в эту командировку.

Я вышла замуж за Степана Дмитриевича Яновского. Свадьба была утром, а вечером я играла внезапно, по болезни Читау, Любовь Гордеевну в «Бедность не порок». Тут в первый раз увидел меня Островский, бывший в Петербурге проездом, и выразил свое неудовольствие: «С какой стати в эту пьесу выпустили барышню из пансиона». Мне тотчас же это передали. Замечание верное, купчихой я была невозможна ни в молодости, ни в старости. Я спрашивала М. С. Щепкина, отчего мне не даются роли простонародных девушек? Он пояснил, что русское простонародье не говорит скороговоркой, как я, а тянет, как бы подбирая слова, стараясь получше выразиться; они неуверены в себе.

Мне кажется, это верно.

16-го сентября 1856 года мне дали первый бенефис. Деньги были очень нужны, и я покривила душой, каюсь! Не помню, кто то посове-

товал дать «Картина современной Турции». Название при тех военных обстоятельствах было как раз очень подходящее. Надо мной подсмеивались, что я в свой бенефис решу восточный вопрос.

Автор пьесы, некто Ступина, бывала в Болгарии и знала хорошо тамошний быт. Пьеса была плохая, даже не пьеса, а картина в 3-х отделениях. Очень неумелой, неопытной рукой изображено, как турки притесняют христиан.

Купила я пьесу за 50 р. серебром, за ложу в бельэтаже и два кресла. Пьеса начинается танцами в болгарской деревне. Режиссер Воронов и я, по неопытности, устроили обыкновенные балетные танцы с воздушными тюниками. Я не догадалась спросить автора, а ее в жар бросило от такого сюрприза. Танцы должны были быть медленные, в болгарских костюмах, музыка заунывная. Артисты были недовольны, никому не хотелось участвовать в такой бездарной пьесе. Насилу я их упросила.

Для себя поставила «Соль супружества» с немецкого и «Провинциальная невеста» с французского.

Театр был битком набит. Меня принимали очень хорошо, а следовало бы наказать за первую пьесу. Мне за всеми расходами очистилось 1500 р. Другого такого бенефиса я не видывала. Первым делом было отдать долг сестре, которая удержала за него при моем переезде от нее серебро, вещи и образа. Я вручила ей 700 р. и она

привезла в театр мои вещи. Купила я себе фортепиано и сочинения Гоголя и Пушкина.

Между тем, наступило новое веяние: громко стали поговаривать, что нас бьют, что нет ни провианта, ни дорог; вместо жертвованной корпии, получается в ящиках солома; воровство, грабеж, лекарства не доходят до места, во всем недостаток.

Мужа отправили в командировку на место военных действий исследовать дело о врачебных заготовлениях.

Муж возвратился глубоко возмущенный беспорядками, составил подробную записку и подал своему директору Ланге. Тот прочитал и сказал, что таких ужасов нельзя представить министру Ланскому [1]: он должен доложить ее государю, а последнего это огорчит. Приказал все переделать и смягчить. Я, разумеется, на дыбы: стоять на своем. Но муж своим мелодичным голосом, с обычным красноречием, стал убеждать меня, что это невозможно. Ланге человек сухой, черствый, ему противоречить нельзя, он велит итти в отставку. На мои театральные средства рассчитывать нечего: какая я актриса! Кроме моих трех сыновей, я в настоящее время была опять беременна. Я струсила и уступила.

Впоследствии я не смела бросить камня в лихоимцев, я поняла, что значит быть обремененной семьей. Чтобы быть честным гражданином,

[1] Гр. Ланской Сергей Сергеевич (1787—1862), с 1855 г.—министр юстиции.

надо много храбрости. Так я и осталась при своей гражданской скорби только на словах. Если б я жила в своей московской среде, меня бы поддержали: в Москве другой взгляд на жизнь. Можно жить в очень бедной обстановке и пользоваться общим уважением. В Петербурге только думают о внешности.

В следующую командировку мужу удалось поймать двух чиновников хищников. С этой поры ему повезло по службе. Его перевели в военное министерство, назначили в следственную комиссию князя В. И. Васильчикова [1]) и дали Владимира на шею. Он воспрянул духом.

До сих пор его общество составляли артисты и литераторы. Тут появились новые люди, чиновники. Литературный кружок его тяготил, он старался и меня отдалять от него. Помню, как раз пришел к нам Писемский и, увидав на муже орден, совершенно серьезно перекрестился и приложился к этому ордену. Мужа это сильно покоробило, он стал коситься, когда я бывала у Писемского. А мне там было интересно, потому что у него собиралась вся литература.

Так как я по своему положению должна была перестать играть на сцене, то муж решил взять меня с собой в командировку.

Я взяла отпуск из дирекции великим постом. Муж отправлялся ревизовать Варшавский округ. Я одна ехала знакомиться с свекровью в Курск,

[1]) Кн. Васильчиков Виктор Илларионович (1820, ум. в 70-х гг.).

куда за мной должен был заехать из Варшавы муж, чтобы потом вместе отправиться на ревизию других городов, а затем в Николаев, где назначено было жить в следственной комиссии и князю Васильчикову.

Отправилась я одна ранней весной, в распутицу. От Москвы железной дороги еще не было. Дорога была тяжелая, в дилижансе ехали и на полозьях и на колесах, а где шли и пешком. В Курск я приехала уже на перекладных в десятом часу вечера, было уже совсем темно.

В дилижансе ехала со мной жена курского полицеймейстера, Караулова. На перекладной мы ехали вместе, я завезла ее домой, и она дала мне провожатого до дому Яновских. И попала я в самое жерло мелкого дворянского крепостничества. До сих пор я только по слухам знала о нем, видала, как бьют по щекам, да и кого в то время не били? Это была система воспитания, а от моих родителей я слышала только похвалы жизни при помещиках. Все это происходило, близко не касаясь меня.

Когда я вошла в дом, меня встретила в передней целая ватага дворовой челяди. Спрашиваю Елизавету Ивановну (мать мужа). «Нету-с». — Елену Дмитриевну (сестру). «Нету-с, уехали в Пензу, к Николаю Дмитриевичу. Они помирают». (Меньшой брат служил в Пензе лесничим.)

— Кто же дома?

— Внучка, Софья Яковлевна. Только и их дома нет, в гостях.

— Пошлите за ней, я остаюсь здесь.

— Да вы кто такие будете?

— Жена Степана Дмитриевича.

Вдруг вся ватага бросилась ко мне, стали целовать руки, плечи. Я была озадачена, что это за восторги.

Пришла Софья Яковлевна, молодая девушка 17 лет, фамилии ее я не помню, дочь старшей сестры мужа, сирота. Отец и мать умерли, она росла у бабушки, имела деревушку после отца, и все крепостные записывались на ее имя, так как Яновские не были дворяне и не могли иметь крепостных. Теперь я поняла радость мужа при получении ордена Владимира. С внучкой пришла сестра свекрови А. И. Шейдеман, очень старая дева и очень богомольная. Встретили меня радушно, а дня через два-три вечером вернулась и свекровь с дочерью Еленой, похоронивши сына в Пензе. С Еленой мы встретились, как знакомые. Свекровь очень меня обласкала. После нескольких дней, прожитых у них, она меня иначе не называла, как «ангел мой божий». В молодости она, вероятно, была красавица. Отец ее, Шейдеман, был учителем у кого то, чему—не полюбопытствовала. Речь ее была приветливая, но странным мне показалось, что она о прислуге иначе не выражалась, как «мои хамы, мои хамки». С прислугою обращалась не жестоко, не дралась, кормила сытно, кроме одной Марфы. Ее она ненавидела. При мне Марфа мыла полы; свекровь, проходя мимо, пихнула ее

ногой, та так и взвыла,—она была беременна. Ей было лет 30, с большими черными глазами, зла, раздражительна ужасно. Свекровь предложила мне ее в подарок в Петербург. Я было приняла, но сестра Елена уговорила меня отказаться, потому что Марфа считалась колдуньей и могла испортить жизнь мужа с женой; так, она положила моток ниток под перину родителей и у них пошел разлад. Уже впоследствии, через несколько лет, я узнала правду. Свекор, умерший в 1848 г., был деспотом в семье. Приказал Марфе разделять с ним ложе, привязался к Марфе, и она властвовала над всей семьей, пока он был жив. И вот теперь она расплачивалась за свое прошлое. При мне она умоляла отпустить ее по оброку, свекровь не согласилась.

При мне было получено письмо из Карса от второй дочери, бывшей замужем за полковником Куколевским, где она просила позволения у матери выдать замуж ей данную матерью горничную. Свекровь и руками и ногами! А. И. Шейдеман умоляла — ни за что. Тогда А. И. подучила меня, чтоб я приласкалась и попросила. Хвалила эту девушку, и что партия очень хорошая, — унтер-офицер. Я взялась, но свекровь очень серьезно высказалась так: «ангел мой божий, я прошу тебя не вмешиваться в мои дела. У меня правило: своих девок не отдавать за посторонних, можешь итти за своего или так родить сколько угодно, я всех приму в свою дворню». Так ангел и отлетел ни с чем.

Между тем, я заметила особливую любовь и общее внимание к ключнице Любови, ее дочери, горничной Александре, и к внучке Варе (рожденной от одного из панычей). Свекровь давала деньги взаймы под залог драгоценных вещей. Любовь занималась тем же и брала всякие дешевые вещи. Я спросила свекровь: отчего эта семья пользуется такими преимуществами? Она объяснила тем, что Любовь жена любимого кучера свекра,—в это время тоже умершего, что он был верный, преданный слуга, и так вот в память его ласкали и его семью. Правду же я узнала впоследствии.

Много лет спустя, при переезде на новую квартиру, я должна была уложить мелочи, дела и бумаги мужа. Между бумагами мне попалась копия с дела об убиении крепостной девки Серафимы. Дело гласило так: Серафима, гладя платье, нечаянно спалила его. Яновская бросилась не нее со скалкой, попала в висок, «положила на месте». Ночью кучер Федосей свез ее к реке и бросил, а платье оставил на берегу. Его посадили в острог, но он не выдал барыни. Я спросила мужа об этой истории. Он сказал, что это клевета, которую взвалили на его мать другие крепостные, недовольные ею, а Серафима добровольно лишила себя жизни. Как то приехала в Петербург к своему сыну соседка по дому и приятельница свекрови, Пелагея Ивановна Глоцкова. От нее я узнала всю эту историю. Федосей пожертвовал собой, и вот почему его семья

пользовалась таким почетом, что даже меня это поразило. Яновским стоило больших денег, чтобы откупиться от этого дела. Она же мне и рассказала историю несчастной Марфы, о которой я упоминала выше.

Обстановка в доме Яновских, как у всех зажиточных чиновников. Свекор служил становым, исправником, потом в губернском правлении, откуда и уволен за взятки вместе с губернатором Устимовичем. Старенький одноэтажный домик с тремя белыми колонками, в одном из переулков около Херсонской заставы. Фруктовый сад с великолепными грушами, отдаваемый в аренду. Известная амфилада комнат: столовая, гостиная и чайная, окнами на улицу, остальные во двор. Улица не мощеная, вся заросшая травой. Мебель не роскошная, но приличная, диван и кресла с деревянными спинками, содержимая довольно опрятно. Свой экипаж. На извозчике почиталось за стыд ездить, так пояснила свекровь. Рассказывала она, что, когда ее муж езжал на следствия, чего, чего не навезет и деньгами и провизией. В мою бытность никто у них не бывал, а в доме были две невесты, Елена и внучка Соня, тетушка и племянница. Еще была сестра у свекрови, имени не помню, ее уже не было в живых в это время, но я слышала от М. С. Щепкина, что она была замечательная драматическая актриса. Он с ней играл, когда еще жил в тех странах при начале своей карьеры. Она вышла замуж за квартального Феок-

тистова, оставила сцену и скоро умерла. Феоктистова я видела, он выглядел большим барином, был очень богат и не служил. Свою единственную дочь он выдал замуж за генерала, тоже Куколевского. Он приходился дядей мужу Анны Дмитриевны и был убит при Карсе.

Из Курска мы поехали в Киев. Надо сказать, что это путешествие было по высочайшему повелению и по курьерской подорожной, а потому остановок и притеснений никаких. Только так и можно было с приятностью путешествовать по России. Из Киева мы должны были ехать в Лубны, где находились казенные лекарственные склады. Меня спросил управляющий Корсунский, где я желаю остановиться: в городе или в садах, находящихся за городом. Я предпочла последнее. Он уехал вперед приготовлять помещение в саду в павильоне. Я была в восторге от такого приема и внимания, а невдомек, что все любезности относятся к жене ревизора.

Приехали в отведенное помещение в саду. Две комнаты, много цветов, изящные письменные принадлежности, варенье всевозможных сортов, много конфект. Садом заведывал Зыбайло, карлик, очень благовоспитанный, вежливый господин. Заметила я, однако, что прислуга смотрит испуганно: говорит он с ними ласково, а у них ужас в глазах. Я сказала это мужу. Он пояснил, что Зыбайло примерный служака и немного деспот с подчиненными.

Городка Лубны я не заметила, проехала мимо, но из своего помещения, которое было на горе, я любовалась им. Город представляет гору в зелени, а среди зелени разбросаны небольшие беленькие домики. Вечером, когда зажигали огни, было премилое зрелище. Еще остался у меня в памяти находившийся неподалеку чудный лес с необыкновенно толстыми деревьями, не помню, какой породы. Это был лес заповедный, его не вырубали и содержали в порядке.

Из Лубен я чуть не со слезами выехала, — так мне было хорошо там! Не нравилось только, что муж много разговаривает о гражданских добродетелях и на ревизии всем рацеи читает. А его все с подобострастием слушают. Зыбайло и Корсунский смотрели интеллигентами, а остальные все в роде Земляники, Тяпкина-Ляпкина.

Последовательно не помню порядка поездки. Были в Харькове, Полтаве, Чернигове, Бендерах, Кишиневе, Одессе. Поездки были приятные, без задержки, погода летняя. Я восторгалась живописной флорой Киевской и Черниговской губерний. В степях Херсона и Бессарабии меня тешили суслики: выскочит из норки, сделает на караул и спрячется, показав свою красивую золотисто-зеленую спинку. В Херсоне мы прожили дольше, чем в других городах. Остановились у управляющего Цабеля, в крепости, где помещался склад медикаментов. Конечно, были приняты и угощаемы очень хорошо. Этот Цабель ввел

мужа в беду и набросил тень на его деятельность. Передаю, как муж рассказывал.

Велено было спасать казенное имущество и перевезти на барках в имение Зейферта на Днепр. Мужа послали в имение для приема барок, но в прибывших барках получалось только имущество управляющего: рояль, мебель, хозяйственные вещи, кадки с квашеной капустой и огурцами, казенное же имущество все потонуло. Как? Когда?—неизвестно.

В Петербурге прошел слух, что потопил Яновский. Это неправда. Муж не был взяточником, а только любил почет, лесть, особенно когда карьера ему улыбнулась, не терпел противоречий, окружил себя людьми ничтожными и упражнялся между ними в красноречии. Чуть кто побойчее, он отдалял. Я начала ему противоречить в том, например, что люди все равны, а он старался доказать, что дворянская кровь лучше мещанской. Дети мои мещане, и им надо дать воспитание, которое следует их званию. Приводил пример: когда он был за границей с Долгорукими, в то время великий князь Михаил Павлович, друг Ильи Андреевича Долгорукого, тоже был у них. Муж был тогда еще молод и заикнулся было о том, что люди равны. Тогда великий князь закричал на него:

— Понимаешь ли ты, докторишка, разницу между чистокровными и простыми лошадьми? Та же разница и между аристократами и низшим сословием.

Потом он мне доказывал, что наши талантливые артисты, например, Сосницкий, хотя бы и знали военное дело, но им не поверят управление важной частью: как мещане, они могут изменить, продать, а дворянин—никогда! И все это слушалось, и как будто верилось и не верилось.

В следственной комиссии много было хороших людей и молодежи. Те его [мужа] раскусили: он ни с кем не был знаком, и это его злило. Один Васильчиков был за него, как за делового.

По дороге в Николаев мы на одной станции съехались с И. С. Аксаковым [1]), Шеншиным [2]) и молодым графом Комаровским. Они все пришли к нам познакомиться. Муж был известен и им по делу Веймарна и Протопопова [3]). Он познакомил меня с ними и сказал:

— Я должен вам сказать, что я женат на актрисе.

Меня покоробило. Не помню, что ему на это сказал Аксаков.

Сама я в это время была, должно быть, препротивная: много болтала о своей гражданской скорби. Аксаков, Комаровский и муж отошли к окну, со мной сидел Шеншин. Видно, я ему очень надоела—он сказал:

[1]) Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), известный славянофил, публицист. Он также был членом комиссии кн. Васильчикова.

[2]) О каком Шеншине упоминает автор—трудно сказать. Едва ли это мог быть А. А. Фет.

[3]) Вероятно, упоминаемые выше чиновники, изобличенные Яновским.

— Извините, я пойду к ним, там интересный разговор.

По приезде в Николаев никто из них у нас не бывал.

Я интересовалась всеми служебными делами мужа, во все входила, читала все дела. Напишу, что помню. Квартиру нам отвели в Николаеве даровую, у вдовы купчихи. Муж ее служил в квартирной комиссии, в чем то провинился, попал под суд и умер. За его провинность в его доме квартиру нам отвели даром. Две большие комнаты с мебелью, третья небольшая, в стороне, в которой муж поместил больного аптекаря Скирмунда. Хозяйка убивалась от горя, прикидывалась нищей и часто просила меня, когда я ходила за покупками, менять ей 50-рублевые серии, потому что ей самой неловко, и просила никому не говорить, что это ее деньги. В следственной комиссии было какое то дело ее знакомого. Она говорила под секретом, что если я уговорю мужа повернуть дело в пользу этого знакомого, то могу получить 10 тысяч. Я, конечно, с негодованием отказалась, но рассказала мужу, тот Васильчикову, а последний очень огорчился, что так малодушно поступила: следовало оказать будто бы согласие и этим способом выследить и поймать, кого им было нужно. Муж сказал, чтобы я впредь поступала умнее, но другого случая не представилось. Интересное это было время! Мне жаль, что я не умею много о нем сказать.

Невозможно было не возмущаться, когда приносили к нам образцы хлеба, которым кормили солдат во время войны: что то вроде ссохшейся глины, пахнет известкой. Хозяйка говорила, что всех больше страдали ополченцы. От этого хлеба у них делался запор, они не могли испражняться иначе, как с кровью и страшной болью. Это все было возмутительно!

В сентябре я родила сына, хотела сама кормить, но не могла вынести грудницы. Пришлось взять кормилицу и собираться домой, в Питер. Выехали мы в ноябре, в тарантасе: я, кормилица с ребенком и на козлах до Харькова аптекарь или провизор, не помню.

Пошли холода, пришлось останавливаться на станциях с выбитыми стеклами. Однако, мой мальчик отлично выдержал дорогу, не простудился. По дороге заехали в Курск, окрестили там моего сына и, отдохнув, отправились дальше. В этом году Ока тронулась перед Рождеством. Приехали в Серпухов, по льду не перевозят. Пришлось засесть в деревне перед Серпуховым. Стечение народа было ужасное: возвращались с войны; кроме того, двигались воза с живностью и разными товарами к празднику. Постоялый двор только один, и то с выбитыми стеклами. Холод. Прежде всего обратилась в шоссейный дом и просила позволения хоть в кухне поместиться с ребенком. Не пустили. Я со злости записала фамилию шоссейного начальника, А. Ф. Махина, и теперь забыть не могу: если

встречу в жизни — обругаю. Нашла избу, переместилась туда и прожила пять суток. Изба общая со всей деревенской семьей, а потом народу привалило страсть сколько: солдаты, ополченцы, разные прохожие. Я занимала три скамьи, а остальной народ спал на полу. Хозяева мои были бедные, по случаю рождественского поста ели одну вареную картошку, без всякой приправы. Я покупала кур, тем только и питалась. Деревня принадлежала г-же Певцовой и она приходила любоваться на наше цыганское житье.

Не знаю, долго ли бы мы так прожили, если бы в это время не проезжал генерал Струков. Он велел прорубить лед от одного берега к другому и перевозить народ на барках. Спасибо ему.

Тут случилось еще одно общее горе: кроме того, что бедный люд прожился, у состоятельных остались одни крупные деньги. Мне в ноги кланялся мужик-троечник, чтобы я ему разменяла крупные деньги, а у меня у самой осталась одна десятирублевка, а то все 25 р. и 50 р. Хлынули мы на берег. Ребенка с кормилицей я отправила вперед, а сама пошла с вещами. Хороший тарантас отдала хозяйке, потому что не было 5 р. заплатить ей. Мои уже отплыли на барке, а я надеялась разменять свои 10 р. у приезжавших с той стороны, чтобы расплатиться с привезшим поклажу. Обратилась к одному молодому человеку: он мог дать мелочи только на рубль, десятки не мог разменять. Как же быть?

— Полноте, сударыня, в такой суматохе, что за церемонии. Берите в подарок.

Могу сказать, что это был драгоценный подарок. Спросила его фамилию — Устимович. Больше я с ним не встречалась.

Как мы тут не перетонули—одному богу известно. Народ бросается зря, барка наравне с водой, становятся на лед, он трещит и качается. Точно сумасшедшие; о смерти никто не думает, лишь бы выбраться. Добрались до Серпухова кое как. Своих нашла на берегу и направилась с ними в гостиницу. Она была переполнена: поместились на полу в общей зале. Все были озлоблены на правительство, что такой горячий тракт и нет постоянного моста. Говорили громко, не стесняясь.

Во время деревенского сиденья приходилось беседовать с солдатами. Я расспрашивала, как их кормили. Они не жаловались и только говорили, что начальство лихо наживается. Например, хлеб был хороший, да выдавали горячий, потому что он на весу тяжелее тянет. Когда раздавали водку, то раздающий глубоко припускал палец в стакан, чтобы меньше водки было. Сколько тут им барыша?!

Приехала в Москву в сочельник, виделась только с Михаилом Семеновичем Щепкиным. Он звал к себе погостить, но я так утомилась дорогой, что поспешила в Петербург.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Жизнь в Петербурге в 1857—60 г. — Возвращение на сцену.— Репертуар Александринского театра.—Театрально-литературный комитет.—А. Ф. Писемский, Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, И. А. Гончаров. — Участие в придворном спектакле в Гатчине. — Отношение к театру государя и императрицы. —Переход на московскую сцену.

Вернулась я вся наэлектризованная всем виденным и слышанным. Мечтала оставить театр и посвятить жизнь свою на исправление нравов в России. Какие у меня были планы, не помню. Это мог бы лучше объяснить Писемский: с ним я в это время видалась чаще всех и ему изливала свою скорбь на тему о том, что всякий гражданин обязан принимать участие в судьбах своего отечества. Писемский злил меня своим безучастием.

— Да успокойтесь, не горячитесь, не ваше это дело. Вы себе действуйте на сцене, за кулисами—вот ваша обязанность.

По возвращении моего мужа из следственной комиссии, Писемский встретил его как то на улице и сказал:

— Что ваша жена сумашествует, святую Русь хочет исправить? Не ее это дело.

Писемский в то время сильно пил и при встрече был нетрезв, а муж шел не один. Мужа взорвали его слова и он стал отдаляться от Писемского и мне запретил ходить туда.

Между тем государь сильно привязался к Васильчикову, особенно после следственной комиссии, обо всем с ним советовался, а Васильчиков совершенно доверился моему мужу [1]). Мне передавал муж, что государь после своей личной поездки на юг и после всего им виденного говорил:

— Все это оттого, что людей нет. Дайте, дайте мне людей!

Я на это сказала, что людей найти можно, только в Москве, а не в Петербурге: «здесь все чиновники или себе на уме. Напиши к М. С. Щепкину: его дети образованные честные люди. Там есть Кетчер—честнейший человек, Герцен, Огарев, Бакунин [2])—его знакомые. (Белинский, близкий к М. С., в то время уже умер.) Они любят и знают Россию. Там найдут людей. Передай это Васильчикову».

[1]) Отчет следственной комиссии о хищениях во время Севастопольской войны со всеми к нему материалами находился у С. Д. Яновского, а после его смерти хранился у его сына, Д. С. Яновского, жившего в имении Тульской губ. Лет 14 тому назад военное ведомство оффициальной бумагой через местную полицию обратилось с просьбой выдать это дело для снятия с него копии. При этом было обещано, что по снятии копии дело будет возвращено. Дело было выдано, но министерство обратно его не вернуло. (Примечание З. С. Яновской, дочери А. И. Шуберт.)

[2]) Полная путаница в сочетании с политической наивностью: в описываемое время Герцен и Огарев находились заграницей и были политическими эмигрантами, а Бакунин, находясь в России, отбывал наказание за политические преступления.

Как сказано, так и сделано. Выписали Николая и Петра Михайловичей Щепкиных. Они виделись с Васильчиковым. Что из этого вышло—не знаю, но только они скоро возвратились в Москву.

Вероятно, со временем будет известен этот факт. От мужа я ничего не добилась: он только сказал, что эти люди неудобны.

Честные люди Щепкины уехали ни с чем, а другие из хищников что нибудь себе устроили бы.

В 1857 году приходил конец моему контракту и я подала условия на первый оклад, мотивируя просьбу о прибавке тем, что для меня поставили две пьесы с крупными ролями: «Мирандолина» и «Своя семья». Директор отказал. Я решила подать в отставку, так как театр меня не интересовал. Муж меня в этом поддержал: он в это время был причислен к военному министерству и стал получать большой оклад, а до тех пор мой заработок был больше. Послала отставку, но по какому то счастливому стечению обстоятельств не получила ни ответа, ни своих бумаг. И началась дома моя каторжная жизнь и охлаждение к мужу. Беспрестанные упреки, что его объели, что навязал обузу на шею, мучили меня. Перестал принимать литераторов, меня не пускал, но больше всего доставалось моим детям. После второго блюда они должны выходить из за стола, потому что, как мещане, должны есть два блюда, пирожное им не следует есть.

За всякой копейкой надо было обращаться к мужу, а он этим тяготился. Я видела, что сделала глупость, обездолила моих трех мальчиков. Так наступил 1858 год. Задумала я опять на сцену, сказала мужу, он и руками и ногами. По закону же жена не имеет права заключать контракта без согласия мужа. Пошла я со своим горем к Писемскому. Я к ним потихоньку хаживала, хотя оффициальное знакомство не прекращалось: при встречах муж отговаривался множеством дел.

Писемский сказал:

— Поступайте на сцену, а уже Россию оставьте в покое.

— Да как итти с повинной к Гедеонову? Пораньше утром, когда нет народу—муж дома, не пустит: он уходит на службу в 1-м часу. Позднее—народу много, стыдно.

— Стыдиться нечего, хоть на площади подойдите: вы должны думать о детях, а не о своем самолюбии.

Я и послушалась. Опять в трудном случае жизни судьба послала мне добрых, бескорыстных людей. Спровадивши мужа на службу, в час пополудни отправилась к Гедеонову. К счастью, у него никого не было.

— Ну что, матушка, скажешь хорошенького?— встретил меня директор.

Я ответила, что извиняюсь за свою горячность и прошу позволения продолжать службу на прежних условиях.

— Ну, вот и умница! Служи, служи, после все получишь.

Отлегло от сердца. Опять к Писемским:

— Определилась! Как с мужем быть?

— Устроим!

На другой день приезжает Екатерина Павловна Писемская с просьбой к мужу пожаловать откушать. Алексей Феофилактович написал новую повесть, желает прочесть ее кое кому и мужу, чтобы узнать его мнение. Рыбка клюнула. Муж с удовольствием принял приглашение.

На другой день отправились. Кроме нас был И. А. Гончаров, А. А. Стахович [1]) и еще кое кто, мне неизвестные. После обеда подают шампанское. Писемский предложил тост «за поступление одной артистки на сцену».

— Какой?—спросил Яновский.

Я со свойственной мне наивностью сказала:

— Это я, душа моя. Я не могу жить без театра: мне скучно.

— Ах, ангел мой! Я очень рад! Ты знаешь, как я люблю тебя на сцене.

Ну, дома, конечно, был другой разговор, да ничего не поделаешь.

Летом или весной в этом году приезжал в Петербург М. С. Щепкин. Я обратилась к нему с просьбой, не возьмет ли он на воспитание моих двух меньших сыновей, для которых я находила необходимым честный воздух. Я буду

[1]) Стахович Александр Александрович, известный театрал, автор интересной книги „Клочки воспоминаний“.

платить за них. Он обещал посоветоваться с женой и дать ответ. Получила ответ от Петра Щепкина, что мать слаба и не может взять на себя попечение о моих детях, но не хочу ли я поместить их у Богдановых: детей у них не было, а жена Богданова (сестра М. С. Щепкина) могла заниматься моими мальчиками.

Я опять решительным манером, как то вдруг, не объяснившись с мужем, забрала детей и отвезла в Москву. Платила за двоих 500 р. в год. Грамоте я их сама выучила. Старшего приготовила в гимназию: тогда требования для экзамена были небольшие, так я сама сумела справиться. Но с определением пришлось много побегать. Так как мой покойный муж Шуберт принадлежал к актерам 2-го разряда, то по придворному ведомству считался в одном ранге с истопниками, фабричными, огородниками; пришлось хлопотать об увольнении из общества. Без увольнения в гимназию могли поступать дети артистов 1-го разряда и камер-лакеев,—эти состояли в одном ранге.

В это время у нас образовался театрально-литературный комитет, где читались новые пьесы. Приглашены были: Гончаров, Писемский, Майков, Дружинин, еще кто то, Стороженко; из артистов: Григорьев, Каратыгины, Самойлова, Орлова и режиссер. Все это под председательством Жихарева собиралось в квартире Федорова. Все участвовали безвозмездно. По окончании года литераторам выхлопотали высо-

чайшую награду—по бриллиантовому перстню. Жихарев согрешил, удержал перстень Дружинина; думал, богатый человек промолчит. Вышел скандал. Стороженко выручил: отдал свой. На сцене свирепствовали пьесы с честным направлением. Особенно гремели: «Свет не без добрых людей» Львова и «Чиновник» Скалозуба. Пьесы делали сборы, производили потрясающий эффект монологами против взяток. Мелкое чиновничество наслаждалось возвышением своей личности, но крупным сановникам не нравилось. «Доходное место» Островского запретили в самый день представления в Москве в бенефис Садовского. Он много рассказывал, что должен был поставить испанский спектакль: Дон-Карлоса, а для себя водевиль Дон Ранудо-де-Калибродос. Он так серьезно по обыкновению говорил это, что невозможно было удержаться от смеха до слез.

1-го сентября 1857 года мне назначили бенефис. Я заявила «Мишуру» Потехина, напечатанную в каком то журнале. Федоров меня отговаривал, так как министр просил не давать больших пьес, где говорят о взятках, ему это надоело. Я уперлась на своем. Тогда Федоров созвал экстренное собрание театрального комитета утром, а не вечером в субботу, как бывало. Многих не оповестили, прочли пьесу в домашнем кругу и запретили. На каких основаниях? Со временем узнается из протокола заседания. Подобная выходка оскорбила литераторов. Гончаров, Писемский, Майков, Дружинин тотчас

вышли из комитета. Остались Жихарев, Краевский и Стороженко. Я оказалась без пьесы. Жихарев, чтобы утешить меня, прислал статью из французского журнала, написанную им по просьбе министра о русской труппе, где он очень лестно отозвался обо мне. Я вспылила и сказала, что если все умные люди вышли, так я с дураками сидеть не хочу. Уж и досталось же мне за это на обе корки, и от мужа, и от брата: они оба через меня надеялись попасть в комитет.

А пьесы для бенефиса у меня все таки не было. Спасибо, выручил Краевский, посоветовав дать «Далилу» Октава Фелье [1]). Островский подарил пьесу «Не сошлись характерами». Фролов [2]), молодой автор, «Капризницу».

Бенефис окончился во 2-м часу ночи. Далилу Владимирова играла плохо, пьеса растянута. Второй пьесой был Островский. Я считала неделикатным дать ее в конце и взяла жертву на себя: играла Капризницу в 1-м часу ночи, да с собой потянула и Мартынова с Максимовым. Уж и проклинали же они меня за излишнюю деликатность и сожалели вместе с тем. А я вышла на сцену измученная.

В этом году я получила желанную прибавку— 1.143 руб., первый оклад, идущий в пенсию; контракт заключили на два года. Разовых: пер-

[1]) Октав Фелье (1821—1890), французский романист и драматург.

[2]) Фролов Петр Александрович (1828—1867), писатель и журналист.

вый год—5 р., 2-й—по 7 р. 50 к., 3-й—10 р. Деньги все я должна была отдавать мужу. Городской гардероб уже должна была иметь свой.

Много было смешных разговоров по поводу моего бенефиса о современном направлении репертуара и о преобладающем вкусе публики к честным пьесам.

Не помню, кто то, кажется, Дружинин, сказал:

— Теперь вот как нужно писать пьесы. Благородный отец (Григорьев 1), дочь, кисейная барышня (Шуберт), ее жених (Максимов 1) и губернская сплетница (Линская). Мы влюблены, мы счастливы, скоро свадьба. Вдруг узнается, что жених взял взятку. Отец в гневе, дочь в отчаянии, свадьбе не бывать. Драматическое положение: жених в недоумении, он взяток не берет, он честен, и... о радость! Все напутала сплетница Линская: он взял лишнюю взятку в преферанс! Все кончается благополучно.

Общий хохот. Потом Писемский предлагает свой сюжет с хорошей ролью для Самойловой, которая отлично поет и танцует.

«Она—крестьянка. В нее влюбляется барин, жениться не может, потому что она необразована. Она поет молитву мадонне и засыпает. Во сне мадонна дает ей облатку. Просыпается и... о, радость!—говорит по французски и танцует польку. Барин женится, радостный конец!»

Это лето мы жили опять в Кушелеве, Писемские тоже. Муж постоянно уезжал в командировки,

а я постоянно бывала у Писемских. Меня часто посещал И. А. Гончаров. В то время он был преподавателем великих князей, наследника Николая и Александра (впоследствии императора Александра III).

Вернулись из ссылки Достоевский и Плещеев. Муж меня с ними познакомил, также и с Михаилом Михайловичем Достоевским [1]), который в то время торговал папиросами. Он был очень нервен, его постоянно подергивало: он получил эту болезнь по выходе из крепости. У него была очень большая семья и жена, добрая, симпатичная немка. У М. М. Достоевского собиралось много народу, музицировали, танцовали. Тут я познакомилась с Всеволодом Крестовским[2]), еще очень юным.

Кружок мой сильно оживился, все бывали, только Писемского и Потехина муж не выносил. Ф. М. Достоевский очень ко мне привязался. Он все жалел, что я играю только вздор, уговаривал взяться за серьезные роли. Да какие? Еще не народился В. А. Крылов [3]): он может все из всего переделать.

Просила Дружинина переделать «Поленьку Сакс», он не брался; говорил Достоевский о «Неточке Незвановой»... Ролей никаких не было, Сашенька из «Светских ширм» или Полина из

[1]) Достоевский М. М. (1820—1864), писатель и переводчик, брат Ф. М. Достоевского.

[2]) Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), писатель, автор „Петербургских трущоб“.

[3]) Крылов Виктор Александрович (1838—1906), писавший под псевдонимом Виктора Александрова, плодовитый драматург.

«Доходного места», — все роли по моим средствам, но их еще не существовало. «Доходное место» разрешили, когда я была уже в провинции и переходила на роли пожилых.

Я томилась, скучала и мне захотелось перейти в Москву. Я и раньше имела эту мысль, но Гедеонов не пустил. Теперь директором был Сабуров. Я посоветовалась с М. С. Щепкиным. Он был не против, но предупредил, что материально я потеряю: в Москве оклады были маленькие, но с меня довольно было того, что я получала. Меня манило на московскую сцену то, что там серьезно относятся к своему делу, со старанием разыгрывают пьесы, а у нас больше 3-х репетиций не полагалось. Если же пьеса переводная, то и репетировали и играли кое как. Там преобладал французский репертуар, что мне было на руку: пьесы серьезные, и я надеялась найти себе дело, тем более, что на амплуа ingénue там никого не было. Я переговорила с мужем, он согласился меня отпустить. Окружающие одобряли мой план, говорили, что мне хорошо освежиться, особенно поддерживал Ф. М. Достоевский, один Аполлон Григорьев удивлялся, как можно расстраивать обстановку, как расстаться с пунцовой бархатной мебелью, с тропическими растениями? Чорт бы их взял!

А. Н. Майков мне завидовал: его тянуло в Москву, он любил ее старину и охотно переехал бы, но Анна Ивановна, как сухая немка, нашла, что это пустая фантазия.

8-го сентября праздновалось совершеннолетие наследника (покойного Николая Александровича). Выписаны были иностранные работники для иллюминации. Она была в новом роде против нашей обыкновенной—на лесах. Тут просто вешались разные фигуры, сделанные из проволоки-ажур, и уж не помню, газом ли были освещены, или стаканчиками, только очень красиво, легко и леса не коробили глаз.

Погода была отличная. Ко мне пришли сестра и невестка, и я вздумала пойти с ними на иллюминацию. Только дошли до дома Шереметева на Фонтанке, как почувствовала, что и ребенок во мне тоже захотел выйти на свет. Я еле до дому добралась. А тут на грех гость пришел, Платон Кусков [1]). Я говорю, что больна, мне нехорошо, а он не верит, говоря, что у меня прекрасный цвет лица и жизнь в глазах. Я просто ушла от него и поручила невестке выпроводить его. С тех пор я его больше и не видала; видно обиделся.

Мне бог дал сына, Димитрия 3-го, — уж это фантазия мужа давать одно и то же имя. Я скоро поправлялась после родов, точно снова жить начинала. Вставала с постели на 4-й день, на 10-й выходила на воздух, а на 14-й или немного позже являлась на службу. Я руководствовалась тем: как же простые или бедные женщины, не нежатся, не валяются, а принимаются за работу.

[1]) Кусков Платон Александрович, поэт и переводчик.

И, спасибо судьбе, все прошло благополучно, я от этого не хворала. Всегда ходила в корсете, он меня спасал от простуды.

Только что оправилась, назначили играть во дворце, в Гатчине: позднюю осень двор всегда проводил там. Дана была русская пьеса: «Странный заклад», переделанная моим братом в стихи из старинной одноактной комедии «Роман на один час». Участвовавших три лица: графиня или княгиня—Снеткова, капитан—Максимов I и горничная—я. Вторая пьеса была французская: «Ma niece et mon ours».

В казенной карете я должна была заехать за Снетковой и отправиться на железную дорогу к 3-м часам пополудни. Отправились мы во время, к сроку. Как вдруг задние колеса соскочили и приперли дверцу. Казенные кареты всем известны своею ветхостью! Народ окружил нас и хохочет, что актерки в тиски попали. Выйти нельзя. Что делать? Вблизи ни одного городового. Боялись опоздать на машину. Я высунулась из кареты и объяснила, что мы едем по приказу государя в Гатчину. Тут сейчас принялись нам помогать, освободили, и мы уже на двух извозчиках с багажем доехали до станции.

В вагоне мы ехали вместе с директором Сабуровым и французской труппой. Французы все репетировали в вагоне такую заигранную пьесу. Я полюбопытствовала у директора—зачем? Он объяснил, что они выпускают все двусмысленности: при императрице их нельзя говорить.

Приехали в Гатчину, когда уже совсем было темно. Нас привезли в придворной карете в какой то домик, против железной дороги, в котором мы должны обедать. Французы сидели за одним столом, а мы втроем—за другим. Стол был сервирован фруктами и конфектами самого низкого достоинства. На кувертах лежало меню из 4-х блюд, причем пирожки из кислого теста с рисом считались за второе блюдо. Из остальных помню еще простую яичницу и курицу с горохом, вернее с очень крупным, невкусным горохом.

После обеда через несколько минут мы отправились с Фанни во дворец. Французы раньше исчезли, кавалер наш тоже улетучился. Долго ехали парком. Ночь темная, фонарей не было. Разглядеть ничего было нельзя. Подъехали к крыльцу ярко освещенного дворца, вошли в стеклянные сени. Тут солдат остановил нас, сказав, чтобы мы погодили входить: сейчас господа выйдут из за стола. Господа—это придворные. Меня это заинтересовало, как новинка, и смех разбирал: «актерки, мол, подождут и в холодных сенях».

Наконец, показались скороходы и внизу и вверху. Это было очень театрально. Они были в черных фраках, в черных чулках и башмаках, очень почтенные, с бакенбардами, и на голове золотые шапочки с громадными разноцветными перьями.

Наконец, отворилась боковая дверь нижнего этажа, повысыпали придворные и направились

по лестнице вверх. Военные, статские, старые, молодые, дамы в головных уборах, старые, пожилые, молодые. Пока подымались, заигрывали друг с другом: мужчины брали иных за талию, за рукав дергали. Точно так же, как и у нас простых смертных. А, ведь, каждая из них считает себя большой барыней! Как только это народонаселение прошло наверх, солдат впустил нас. Мы спросили:

— Куда же итти?

— Пожалуйте наверх.

Пожаловали наверх—ни души. Нескончаемый корридор, много дверей, все заперты, спросить не у кого. Поднялись во второй этаж—такой же корридор и у некоторых дверей стоят господа парочками. Вижу: не простые, побоялась подойти спросить. Пошли выше—никого. Ходим кругом, не знаем, что делать. Наконец, летит какой то камер-лакей.

— Батюшка, выведите из этого лабиринта!

Спасибо ему: провел не то в 4-й, не то в 5-й этаж. Там такие же корридоры вокруг всего дворца. Провели нас в маленькие, низенькие комнатки. Француженки уже там устроились, удобнее нас, вероятно, по знакомству: забрали все ширмы и умывальники. Кое как разместились, к 7-ми часам были одеты и сошли на сцену.

Сцена была небольшая, лож нет, вместо бенуаров—небольшое возвышение и все кресла и кресла.

И промаялись мы тут от 7-ми часов до половины 10-го. Сидеть в соседней зале не хотелось: интересно было наблюдать за публикой. Придворные собирались понемногу. В первом ряду в проходе стояли два кресла: для государя и государыни. Перед выходом их я следила из за занавеси. Вошли два, должно-быть, камер-лакея, один седенький старый, другой молодой брюнет. Ливреи их отделаны зеленым сукном с орлами (у всех прочих красным). Вошли и осмотрели оба кресла со всех сторон. Потом появилась царская фамилия. Все встали.

Государыню я проглядела: все смотрела на царя. Это удивительно, что я никогда не могла рассмотреть императрицу, даже когда жила в Царском и часто встречала их: все тянет к нему. Пьесу мы сыграли в полчаса. Государь мне аплодировал за монолог. Публика там не смеет хлопать. Через директора получили такой отзыв: очень хорошо, а главное, что скоро кончили.

Не важно!

Мы не пошли раздеваться, а остались смотреть французов. Режиссер предупредил нас, чтобы мы были осторожны при перемене декораций: пьеса в 3-х действиях, антрактов не будет, перемены будут делаться быстро. Я удивилась: все совершалось, как по колдовству. 1-й акт—комната, где завтракают, 2-й акт—товарный вокзал железной дороги: чемоданы, ящики, сундуки и т. п.; 3-й акт—опять комната. Все это

проносилось, устанавливалось моментально. Ни звука человеческого голоса не было слышно. Видно, все было заранее срепетовано с рабочими. Так пьеса прошла без антрактов, никто не вставал с места. Хохотали ужасно над Лемиллем и Верне. Государь так и покатывался. Тем же порядком нас развезли по домам.

В другой раз ставили во дворце «Холостяка» Тургенева. В это время все более и более входил в славу Мартынов. Он воспрянул духом и с любовью играл русских авторов.

Пьесу смотрели снисходительно, и кое кто из великих князей сказал: «Отчего это русские пьесы скучны?»

Александр II редко посещал русский театр: он пристрастился к балету.

Государыня Мария Александровна после траура приказала назначить «Ревизора», приехала со всеми детьми, и ей очень не понравилось: «Какие все карикатуры! Разве есть такие люди?» В следующий раз для нее назначили «Двумужницу» Шаховского. Там русские песни, пляски, разбойники, пожары... Это понравилось. Прогремела «Гроза» Островского. Она пожелала ее видеть. Начальство растерялось, как быть со сценой свидания? Некоторые находили, что она неприлична. Придумали, чтобы обе пары, Катерина с Кудряшем и Варвара с Борисом не уходили за кулисы, а оставались у публики на виду. Так что и императрица выразилась: «Ничего тут нет неприличного!»

16-го октября 1859 г. мне дали третий бенефис. Кто то посоветовал «Холостяка». Машу я уже играла в Одессе с М. С. Щепкиным. Побоялась, что не сделает сбора, а деньги очень были нужны.

Брат предложил «Похождения Картуша», взялся наскоро перевести. Афиша вышла эффектная: каждый акт имел свое название. В. Самойлов с удовольствием взял эту роль, но сбор был незначительный, и я сама себя высекла. Мне было стыдно за мое малодушие.

Между тем директор Сабуров согласился на мой перевод в Москву.

Перед отъездом я потихоньку от мужа заняла в дирекции 300 р. на год с выплатой по 25 р. в месяц, но и до дома их не довезла: должно быть, выронила их в санях.

Меня многие провожали, но я оставляла Петербург без сожаления. Мне хотелось перемены жизни, лучше сказать—новой деятельности, новой публики и нового репертуара.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Жизнь в Москве в 1860-63 г. — Разделение труппы московского Малого театра на две партии: М. С. Щепкина и П. М. Садовского.—Их взаимные отношения.—Освобождение крестьян.—Отношение к этому событию московского общества, радость М. С. Щепкина.—Студенческие волнения.—Получение мужем, С. Д. Яновским, генеральского чина и перевод его в Москву.—Решение оставить казенную сцену. — Хлопоты в Петербурге. — Выход в отставку с пенсией.

Приехала в Москву и остановилась на Лубянке, в меблированных комнатах в доме Трындина. Почти рядом находился книжный магазин Н. М. Щепкина [1]; при магазине имел квартиру А. Ф. Богданов, у которого жили мои сыновья. Я сделала визит всем артистам. Московские артисты, находившиеся под петербургским гнетом, были и принижены и обижены, следовательно, как рабы—злорадны.

Приняли меня сухо все, кроме семьи Щепкина: я приехала по своей воле, была только водевильная актриса, а получала плату наравне с московскими премьерами, меня называли петербургским слетком. Однако, визиты мне все

[1]) Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), сын знаменитого артиста, книгоиздатель.

дамы отдали. Управляющим конторой был в то время А. Н. Верстовский, начальником репертуара Н. И. Пельт, режиссером некто Пономарев, который недолго был при мне.

Московская труппа разделилась на две партии: Щепкина и Садовского. Это произошло с появлением репертуара Островского. Последний сам рассказывал, что партия Щепкина глумилась над ним, и он много неприятностей перенес от них. Но я тогда еще ничего не знала и не замечала. Вместе с пьесами Островского игрались и переводные французские мелодрамы Тарновского, Родиславского [1]) и других. Говорили, что Тарновского пьесы интереснее, у него все необыкновенное, чего и не ожидаешь, а Островский пишет о том, что мы видим на каждом шагу, всю сцену провонял полушубками. Такие суждения я сама слышала от некоторых лиц из публики.

Сторонниками бытовых пьес были: Садовский, Сергей Васильев, Никулина-Косицкая [2]), Васильева, Колосова, две сестры Бороздины. Противоположный лагерь составляли: Щепкин и не подходивший к купеческому типу Самарин; красивый jeune premier, создавший, однако, впоследствии роль Мерича в «Бедной невесте»,

[1]) Тарновский Константин Августович (1826—1892), плодовитый драматург, писал под псевдонимом „Семен Райский“, „Евстафий Берендеев“.—Родиславский Владимир Иванович (1828—1885), писатель и драматург.

[2]) Косицкая-Никулина Любовь Павловна (1829—1868), известная актриса.

Шумский и Медведева, привыкшая к мелодрамам, где чувства выражались под музыку, она была ненатуральна в бытовых ролях. Впоследствии, по мере возвышения Островского, все слилось, всем нашлось дело и разногласия исчезли.

В это время был еще жив Д. Т. Ленский, но находился в опале у всех артистов и не бывал в театре. Мне рассказывали, что он написал пасквильные стихи на всю труппу, и все от него отшатнулись. Служил он на странных условиях: без жалованья, но за разовые 20 руб., сумма по тому времени солидная; только его никогда не назначали. Через год после моего переезда в Москву он умер, и я его ни разу не видала, только через его сына получила благодарность за исполнение роли Лизы в водевиле «Лев Гурыч Синичкин».

Дебютировала я в «Войне с тещей», в роли молодой наивной женщины с драматическим оттенком. Второй дебют: «Не всякому слуху верь» — Дружинина, третий — «Картинка с натуры» и «Лев и крыса» с французского (Les rats de l'opèra). Играла с успехом, принимали хорошо. Смешно вспомнить: я по своей моложавости играла молоденьких до сорока лет, хотя и принялась в то же время за пожилых и старух. Так вот, что с этой крысой произошло. Крысы вообще прожорливы, потому и моя роль состояла в том, что я все время говорю и ем. Пьеса в моей жизни несколько раз возобновля-

лась. Первые разы я громко, на весь театр, щелкала орехи: это казалось очень смешно. При втором возобновлении через несколько лет я уже потребовала миндальных орехов, ибо они мягче; но эффекту того не было. А через несколько лет я могла есть только пряники.

Кроме семьи М. С. Щепкина, относившейся ко мне по родственному, и П. М. Садовский был искренно расположен и приезжал нередко ко мне. Езжали мы с ним к Медведевой играть в преферанс со старухами: матерью Медведевой и Т. И. Кашиной, квартировавшей в их доме. Обыграет, бывало, нас Пров Михайлович и отправляется в клуб. Бывали мы с ним частенько у А. Н. Плещеева, который жил в то время в Москве. Милый, хороший был человек Пров Михайлович, и мне было больно и неприятно, что он ненавидел Щепкина и избегал его. Помню, справляла я свои именины 18-го марта, назвала гостей, пригласила, конечно, и Садовского. Он прислал мне милое поздравительное письмо, где написал между прочим: «Приехал бы с удовольствием,—да не желаю встречаться со Щепкиным и его компанией». Так мы и отдалились друг от друга: у меня он перестал бывать, и у себя дома жил замкнутой жизнью и никого не принимал.

В этот приезд свой я увидела разницу жизненной обстановки московских и петербургских артистов. Московские жили просто, ни у кого не было блестящей обстановки, одевались про-

сто, так сказать по мещански. Вот уж правда, что из трудов праведных не создашь палат каменных. Богатые в мое время были немногие: и то либо за женой взял, либо в карты выиграл.

Наступил 1861 год, совершилось освобождение крестьян. Особенного оживления вокруг себя я не заметила: прислуга у нас была вольная; в театре тоже разговоров было мало. Первое объявление при восшествии на престол Александра II еще вызвало толки. Потом все заглохло, устали как будто ждать, разговоров никаких не было. Это я о Петербурге говорю. В Москве же все время живо интересовались этим вопросом. М. С. Щепкин не раз говорил, что если он доживет до этого дня, то непременно пьян напьется. После 19-го февраля на радостях задал обед. Народу была пропасть, лилось шампанское рекой. Дождался М. С. этой радости, но напиться ему не дали: дети боялись за его здоровье, так как один удар у него уже был. Веселый, неудержимый хохот Кетчера раздавался, как колокол, по всем комнатам. Некоторые из гостей брали Положение, начинали разбирать его, но он, вырывая его из рук, кричал: «Рано, рано, господа! Главное слово сказано, и будем за него только пить».

В английском клубе М. С. Щепкин нарвался: не стесняясь, он со слезами выражал свой восторг по поводу освобождения. Некто из бар, фамилии не помню, еще молодой, считавшийся

передовым, сказал ему с досадой: «Ну, чего вы так радуетесь? ведь уж вы давно вольноотпущенный».

Так и я нарвалась: выражала свою радость Писемскому, а он и говорит: «Радуйтесь, матушка, радуйтесь, ведь вы лично ничего не теряете, вам только и остается, что радоваться».

В Москве начались студенческие волнения. Каждый день ходила я смотреть на бедную молодежь, которую не пускали в здание университета, и они собирались на крыльце, спорили, кричали, но понять ничего нельзя было. Публика находилась на улице, за решеткой, во двор посторонних не пускали. Кто то из знакомых сказал М. С. Щепкину, что я хожу на сходку. В день катастрофы, когда били студентов, я по обыкновению отправилась на сходку[1]). На Моховой встречается М. С. на извозчике:—«Иди назад, я еду к тебе чай пить». Задал головомойку, что мне незачем туда ходить. А между тем, как раз в этот день толпа студентов отправилась к дому генерал-губернатора. Что там произошло,— не знаю, но простой народ стал бить студентов, так как распространился слух, что бунтуют дворянские дети, потому что государь у них крестьян отнял. Студенты бежали, спасались по магазинам, в простые лавки не рисковали войти. Многих забрали в часть против дома генерал-

[1]) Повидимому, имеются в виду студенческие волнения, происходившие в Москве в начале октября 1861 г. и завершившиеся массовым избиением студентов у дворца тогдашнего ген.-губ. Тучкова на Тверской площади.

губернатора. Милейший Николай Ильич Огарев, московский полицеймейстер, рассказывал потом у Медведевой, что вечером он зашел в часть проведать студентов. Они его окружили, заговорили, загалдели, что то доказывали.—«Я слушал, слушал, ничего не разобрал. Дал им накричаться и спросил:

— А что, господа, вы, чай, голодны? С утра сидите здесь не евши?

— Конечно, голодны,—закричали.

— Вот это дело! Давно бы сказали».

Вышел и распорядился, чтоб им принесли обед.

Хороший он был человек! Обед принесли, вероятно, от Долгорукова: Николай Ильич сам был бедный и нелюбостяжательный [1]).

Октября 3-го 1861 года мне назначили бенефис. Все друзья мои советовали взяться за серьезные роли, и я решилась возобновить «Бедную невесту» Островского. В последнем акте сцена Дуни с Беневоленским была запрещена цензурой. Я поехала в Петербург хлопотать о снятии запрещения. Шефом жандармов был в то время Тимашев [2]). Отправилась к нему. Надо заметить, что в этом же здании помещалось и цензорское отделение. Не раз приходилось туда ездить для прежних бенефисов, чтобы

[1]) Фигура Н. И. Огарева явно идеализированна автором. В „Колоколе“ Герцена об этом полицеймейстере в свое время печатались самые скандальные разоблачения.

[2]) Тимашев Александр Егорович (1818—1893), впоследствии министр внутренних дел.

попросить поскорее разрешить пьесу, чтобы не задерживали. Смешно вспомнить: сядешь, бывало, в пролетку: «в 3-е отделение!». Извозчик непременно оглянется и подозрительно осмотрит.

Явилась. Принял меня очень вежливо красивый генерал, еще молодой. Я объяснила свою просьбу, показала печатный экземпляр и просила позволения прочесть запрещенную сцену вслух. Он ответил, что сцена небольшая, и он сам сейчас прочтет. От нечего делать, пока он читал, я рассматривала комнату. Большая, высокая, все шкапы и шкапы; на белых картах написаны дела, а какие—рассмотреть не могла; встать, подойти поближе, не решилась. Потом стала смотреть на пол. Вдруг подняла глаза, поймала на себе взгляд генерала: он смотрел на меня и смеялся: «Вы рассматриваете пол?»

Сцена была прочитана. Он разрешил и подписал. Я поблагодарила и раскланялась. Дорогой думаю: чего он смеялся? зачем спросил про пол? Батюшки! догадалась!—Тут нашу сестру секут. Спустят с кресла, отделают и в том же кресле возвратят на место. Так, по крайней мере, рассказывали. И паркет устроен так, что черные клетки очень большие. Тимашев заподозрил, что я разыскиваю механизм, а у меня и в уме не было.

Со страхом и трепетом принялась я за роль Марии Ивановны; чувствую, что не справлюсь, что не на своем месте. Я еще из Одессы писала М. С. Щепкину о своем затруднении в драма-

тических ролях: чувствую, что плачу настоящими слезами, не могу сладить с голосом. Скверно выходит. Пригласила Островского почитать со мной. Он ничего не мог мне помочь: одно говорил, что надо прочувствовать. Я была растеряна. В это же время, читая с ним, я, еще молодая женщина, восхищалась ролью матери, Анны Петровны, и говорила, что буду счастлива, если придется ее сыграть. Впоследствии это вышла одна из удачных и любимых мною ролей. Это признали даже «Московские Ведомости», а они были скупы на похвалы. К моему бенефису публика хоть и отнеслась снисходительно, но не за игру, а видимо хотела поддержать. Зато в журнале, кажется, «Искусство», меня в первый раз в жизни жестоко отругали, и за дело: я взяла тон не московской барышни, а французской, и вышла фальшь. Мои манеры назвали кошачьими. И тиранил же меня М. С. Щепкин, заставляя при всех вслух читать эту рецензию.

Второй пьесой в бенефис я взяла сцену, написанную, не помню кем, специально для меня еще в Одессе. Действующее лицо—я одна, и половина роли на французском языке. В Одессе и Петербурге это понравилось, но в Москве прошло бесследно, и я получила серьезный упрек от А. Н. Плещеева. Сбор был неважный: 300 или 500 р., уж не помню.

Кончился мой контракт, и на следующие 3 года я имела глупость заключить на тех же условиях,

т. е. 1.143 р. жалованья, 10 разовых, но вместо бенефиса взяла деньгами и тем себя обездолила: не разочла, что в бенефис играй, какие хочешь роли, и почти совсем вышла из репертуара. Вспоминаю слова Кетчера: «Вы, сударыня, со свойственным вам благоразумием, всегда наделаете глупостей». Как то я разговаривала с Писемским и спросила его: «Объясните мне, что это значит? Про меня говорят, что я умна, и я сама знаю, что не дура, а делаю все глупо». Он пояснил так: «Это оттого, что вы хоть и умна, но не практичны, и всякая практическая дура вас за пояс заткнет». Это правда: непрактичностью в жизни и в денежных делах я всегда отличалась.

В это время мужа перевели на службу в Москву с чином действительного статского советника, и я стала генеральшей,—первый пример в театре. М. С. Щепкин вопил: «Батюшки мои, осрамит она у меня этот чин! Не сумеет его с достоинством носить!»

— Может быть,—отвечала я,—мне этот чин на нервы не действует. Мне все равно, называться ли генеральшей или китайской мандариншей.

Это в Петербурге генерал был—особа, а здесь в Москве—генералам цены не дают: ни чинам, ни орденам. Бывало Кетчер, голубчик, приедет ко мне из присутствия. Первым делом,—орден с шеи долой и в задний карман.

Переехали мы на Страстной бульвар в дом Меркла. Квартира барская. Муж познакомил

меня со своим кружком военных чиновников. При переезде справлял получение чина и новоселье. Задал обед, заказанный в Купеческом клубе. Все было очень торжественно. Гостей человек 10, все военные. Я была в белом платье с голубым кушаком, восседала на диване, принимала поздравления. Все подходили к ручке: «Честь имею поздравить! честь имею поздравить!» Как было не войти в роль генеральши? Не тут то было! На грех принесло В. В. Самойлова; он приехал гастролировать в Москву, и муж пригласил его на обед вместе с его сыном, Николаем Васильевичем, служившим еще в гвардии. Ну, конечно, принимая поздравления и глядя на улыбающегося Самойлова, я вспомнила сцену из Ревизора: «Анна Андреевна! Марья Антоновна!» и еле удержалась, чтобы не расхохотаться.

Впоследствии я познакомилась с чиновными дамами, но мне невыносимо было скучно в этом обществе, ничто меня у них не интересовало, и я сидела, как пришибленная: светского разговора вести не умела, завидовала им, как они с оживлением о пустяках умеют говорить. А выезжать надо было! Как то заехал ко мне М. С. Щепкин. У меня сидела Афросимова, родственница нашего генерал-губернатора. М. С. рассказал при ней о той барыне, которую изводила кружевница, девка Машка: какой урок ей ни задай, она, бестия, все выполнит (это напечатано). Афросимова обиделась, стала защищать

барыню, которая оказалась ее знакомой, говорила, что это святая женщина, почти кричала на М. С. и с тех пор больше у меня не бывала [1]).

В 1862 г. в управлении театра произошли перемены: Верстовский подал в отставку; на его место назначили из Петербурга Леонида Федоровича Львова, брата композитора. Он хорошо относился к московской труппе; ему она была обязана повышением окладов: он выхлопотал московским артистам одинаковое содержание с петербургскими. Непрактичный в денежных делах, он как то зарвался, был судим и отставлен. По моему, он не был корыстолюбив. Помню, я как то пришла к нему и нашла его взбешенным: портной представил ему счет для лифчика с тесемочками и шнурочками за необычайно дорогую цену.

— Что мне с ними делать! Они невозможные счета представляют. Посмотрите, может ли эта мелочь стоить такой суммы?

Я тоже подтвердила, что счет—невозможный. Видно, он был не практик, и его просто подвели; не понравился Петербургу за его горячее участие к московскому театру, который постепенно вели к упадку, его и пожрали.

В этом же году оставил сцену любимец московской публики С. В. Васильев. Он почти совсем слепой играл в свой бенефис роль Мор-

[1]) История о помещице, лечившей себе нервы пощечинами крепостным девкам, находится в „Записках“ М. С. Щепкина.

ковнина в водевиле «Что имеем не храним»... По сцене его водили за руку и поворачивали к тем лицам, с которыми он должен вести сцену. Публика и товарищи как бы заживо хоронили его.

Этот год я все хворала и чувствовала, что не могу играть: нервы расстроились, настроение стало невыносимо, я решилась отказаться от сцены и подать в отставку. Наступал 1863-й год—двадцатилетие моей службы. Так как мои 5 лет одесских не причитались к пенсии, то надо было ехать в Петербург хлопотать о зачислении их. Взяла от нашего главного доктора, Андрея Евстафьевича Берса [1]), свидетельство, что не в силах продолжать службу, и великим постом отправилась. Директор граф Борх, Федоров, Семенов, заведывавшие московским театром, уговаривали взять отпуск, лечиться и дослужить эти пять лет. Но я чувствовала, что умерла для сцены. Министр Адлерберг советовал обратиться к медику государыни Маркусу и у него просить свидетельство. Я совсем измучилась. Эти шатания по пятым этажам, с лестницы на лестницу, так мне надоели, что я решила взять две трети пенсии, т. е. 762 р. вместо 1.143 р., только бы развязаться и уехать куда нибудь в деревню.

Младший сын М. С. Щепкина, Александр Михайлович, служивший помощником управляю-

¹) Тесть Л. Н. Толстого.

щего московской Удельной конторы, предложил мне на лето переселиться к нему на дачу в Царицыно с дочерью и кормилицей. В половине лета А. М. Щепкин получил перевод в Симбирск председателем казенной палаты и уехал. Я наняла себе избу в деревне и по отъезде их переселилась туда. Имея страсть, может быть, и родственную, к простому народу, я дружески сошлась с семейством моих хозяев. У них был работник Максим, в полном смысле богатырь. Я любовалась им: вечно за работой, без понуждения с чьей либо стороны. Наберет дерева, то телегу смастерит, то кадку сделает. Не раз говорила ему: «Ну, Максим, еслиб все мужики так работали, как ты, можно было бы сказать, лопатой золото гребут»... Он был из Орловской губернии, лишний работник при трех братьях, поэтому и зарабатывал на стороне. Иногда нянчил мою дочь и приговаривал: «Ох ты, барская кость!»

Царицынские крестьяне были страшно распущены: главный их промысел—торговля малиной, езда в город и пропивание денег. Под дачи они своих изб не сдавали ради сбережения ягод; я только одна жила там по протекции Щепкина. Как крестьяне Удельного ведомства, они все обязательно были грамотны, но только без толку: дальше псалтыря не шли и совсем забывали грамоту. Железной дороги из Москвы еще не было. Возили малину в решетах на рессорных дрожках. Отправлялись ночью, возвраща-

лись порожние в тот же день к вечеру, и начиналась война между бабами и мужиками: многие возвращались не только пьяные, но и без денег. Крик, вой, ругань так и разносились по улице.

Рядом со мной жил крестьянин свирепого нрава. Как напьется, то ищет жену убить. Оба старики. Она, бедная, прячется по соседям. У него была дочь 16-ти лет, ту он не трогал. Вся его ненависть была к жене и 10-летнему сынишке. Впоследствии я слышала, что мальчика нашли мертвым в кустах, куда он спрятался в холодную осеннюю ночь от поисков отца. Я говорила со своими хозяевами, неужели нельзя положить предел этому варварству? Мне отвечали, что он законный муж и властен над женой.

Жаловалась я на это безобразие управляющему Удельной конторой, который навестил меня как то. Он тоже отвечал, что начальство не имеет права вмешиваться в семейные дела крестьян: у них есть свой суд—мирской.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Приглашение в Орел. — Труппа орловского театра в 1863-64 г.—Артистки Стрелкова и Шмитгоф-Пиунова.—Репертуар.—Условия работы.—Столкновение с заведующим театром И. Ф. Новиковым.—Нравы провинциальных артистов.

Нежданно, негаданно в один прекрасный день подъезжает ко мне коляска четверкой. А. Ф. Богданов с женой, с ними толстый краснощекий господин. Елизавета Семеновна, сестра М. С. Щепкина, говорит: «Поезжай в провинцию работать». Я поразилась: и в ум ничего подобного не приходило. О провинции я имела весьма невыгодное мнение, никогда ни с кем не была знакома.

Толстый господин с ними был И. Ф. Новиков, хозяйственный старшина орловского клуба. Клуб взял театр от антрепренера и поручил Новикову сформировать труппу. Новиков обратился к московскому режиссеру Богданову, а он рекомендовал меня. Условия я заключила хорошие: 150 руб. в месяц и бенефис. Я поехала ради денег и с целью перебраться на роли старух. В последнее время на меня напала апатия к сцене, стесняли руки и ноги, как новичка.

Я не надеялась воспрянуть духом и, чтобы не скомпрометировать фамилии Шуберт, считавшейся талантливой, я взяла свою девичью фамилию Куликовой и с нею выступила на орловскую сцену.

Приехала я в Орел в 1863 году с дочерью и кормилицей в дилижансе, отправив багаж через транспортную контору. Остановилась в гостинице и дала знать о своем приезде П. И. Барсову, зятю М. С. Щепкина. П. И. был другом моего детства, с которым мы вместе играли в разбойники. Это—одна из светлых и честных личностей, воспитанных в доме Щепкина, где не было места ничему дурному и фальшивому. П. И. сейчас же предложил мне переселиться к нему, пока я найду более удобное помещение ближе к театру. Так и прожила я у него всю зиму, конечно, за плату.

В первый раз закинула меня судьба на провинциальную сцену. Одесса—не провинция: там и дирекция и труппа была из первых сюжетов императорской сцены, порядков держались казенного театра, да и публика была вполне цивилизованная. Простонародье состояло из евреев, очень любящих театральные представления. В орловской труппе трагедии и драмы играла Стрелкова, драмы, комедии и водевили—Шмитгоф-Пиунова и Куликова (т. е. я), выступала, кажется, во всевозможных ролях. Мне было 36 лет, я была очень моложава и смело могла подвизаться в молодых, но стыдилась, считала

себя не вправе брать молодые роли и старалась усвоить роли старух, что давалось очень трудно. Отличный комик и резонер был Колюбакин, игравший особенно хорошо Островского, но ленивый на выучивание ролей. Он мне хвастался, что играл Юсова, не видавши роли в глаза, благодаря тому, что часто приходилось читать «Доходное место». Когда здесь ставили эту пьесу, он надеялся накануне почитать роль, но всю ночь проиграл в трактире на биллиарде, а играл с успехом.

Другой такой же экземпляр был, блаженной памяти, Андреев-Бурлак [1])—большой талант, но ролей положительно не мог учить. Раз в жизни мне пришлось играть с ним в театре Бренко в бенефис Стрепетовой [2]). Он—Беневоленский, я—Анна Андреевна. О, боже, что он говорил! что он говорил! «Матушка! матушка!» трепля меня по плечу и даже по суфлеру не мог. Бедный Киреев-Добротворский чуть не плакал от него. А я невольно любовалась им. Тип, грим, манера говорить, держать себя—художественна! Бери кисть и рисуй!

Помещу здесь кстати его рассказ о том, как поддел его раз А. Н. Островский. Приехал к нему раз поздравить с праздником честь-честью. Подали обильную закуску, вино. Закусили, выпили. Еще народ был тут.

[1]) Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843—1888), известный актер и чтец.

[2]) Стрепетова Пелагея Антоновна (1850—1903), известная артистка.

«Островский подходит ко мне с листом бумаги и просит подписать на бедность кому то. Ну, подумал я, что то некрасиво; напоил, накормил... и подписка! Неуместная филантропия! Сколько же подписать, спрашиваю.

— Ах, это все равно. Нам нужна только ваша фамилия.

А, только фамилия? Извольте! И подписался крупно «Андреев-Бурлак».

— Вот покорнейше благодарю, я теперь спокоен,—сказал Островский.

Что это значит?

— А вот читайте!

Перевернул страницу и там прочел: «Даю честное и благородное слово А. Н. Островскому выучить твердо роль Подхалюзина». Каково?! Нет, уж этого то я никак не могу! Легче деньги отдать!»

Возвращаюсь к орловскому театру. Начали мы играть 18-го августа, а мой багаж с гардеробом застрял в дороге и пришлось кое что делать вновь. Для первого дебюта я выбрала себе две полумолодые роли: водевиль «Петрушка-Болтушка» и «Наташа», сцена для одного лица. В Москве она была написана Колосовой; я ее переделала несколько для себя. Первый раз попала в провинциальный мир, никого не знала, какие люди, как смотрят на дело?

Спектакль начался пьесой: «В людях ангел не жена». Фигурировала в первой роли Шмитгоф, уже знакомая орловской публике и ее лю-

бимица. Трудилась ужасно: кричала, визжала, одним словом, переиграла. Моя пьеса была вторая—«Наташа». Я шла на сцену нехотя: нервы притупились, я это чувствовала, мучилась этим и половину пьесы вела вяло. Должно быть от этой муки я вдруг будто проснулась, оживилась и дело пошло как по маслу. Утрировать я никогда не умела, а играла просто, весело. В этой сцене я поместила стихи, которые можно было читать по выбору; это я умела. Понравилось, и, как после говорили, именно простой, безыскусственной манерой. Так я с месяц играла все молодых. Первая роль старухи (в пьесе «Богатая старушка и ее родственница»), больной, дряхлой барыни, все время сидящей в креслах, была для меня трудна и вышла неудачно. Надо было гримироваться, а мое моложавое лицо не поддавалось никаким краскам. Трудно было удержаться от порывистых движений, скорой походки, да и голос был звонкий. Меня всегда занимало, отчего это мужчины играют и старых и молодых, а мы, женщины, вечно юные, потом ни то ни се и после уж старухи. Мне хотелось избегнуть этого «ни то ни се» и исподволь приучиться к ролям старух. Вторая роль старухи прошла лучше первой, но с середины зимы Шмитгоф по случаю беременности перестала играть, и я попала из старух в молодую роль Дашеньки в «Мишуре». Она мне удалась, меня принимали хорошо и вообще любили, когда я являлась молодой.

И. Ф. Новиков познакомил меня со своей семьей, приглашая часто к себе обедать, и обращался вежливо, насколько мог по своей грубой неотесанной натуре. В семье он был деспот и перед ним трепетали. С актерами обращался, как с лакеями, а в это время уже дворяне появились на театральных подмостках и требовали другого обращения. Что случилось, не знаю, но двое актеров уехали. Я удивилась: как же это не боятся остаться без актеров?

Мне ответили, что теперь еще тепло, еще подойдут.

— Как подойдут?

— Да пешком. Сапоги на палке, с котомкой за плечами.

И я видела таких.

Публика орловская, на мой взгляд, образованнее всех других городов, где мне случалось бывать. Тон дает местная интеллигенция, массы—нет.

Труппа понравилась. Играли мы современный репертуар, да и силы подобрались к нему подходящие. Стрелкова, получавшая по тому времени громадное содержание (300 руб. в месяц), требовала, чтобы для нее ставили трагедии: Марию Стюарт, Гризельду, Дебору. Остальным приходилось ей аккомпанировать, как водевильным, потому вся труппа была против. Стрелкова сказала, что тотчас уедет, если для нее не будут ставить пьес. Новиков был за нее, говоря, что трагедии дадут сбор, а современный репертуар

ему в убыток. Делать нечего, должны были согласиться, да и не смели — деньги важный рычаг.

Правда, у Стрелковой из современного репертуара были всего две пьесы: «Гроза» и «Горькая судьбина», где она была великолепна. Была еще «Материнское благословение», но ее толстая фигура плохо подходила к роли; к тому же она была не первой молодости. Зато голос для пения у нее был прекрасный. Вот—первый талант самородок, который я встретила, второй — Стрепетова, а больше не видала. Стрелкова не получила никакого образования, еле умела читать, на считки никогда не являлась, но с первой репетиции уже знала свои роли. Вообще актрисы добросовестнее актеров, те без суфлера ступить не могут, да еще гордятся этим; репетиция для них наказание, особенно игранной пьесы. Но все таки бывало уговоришь, послушаются: относились с уважением к моей любви к порядку.

На 24 ноября назначили Марию Стюарт. Роли розданы, костюмы шьются. Уж не знаю, пришло ли время Шмитгоф по своему положению не играть, или она хотела насолить Стрелковой, только роль королевы Елизаветы она возвратила. О, ужас! Новиков при всех становится передо мной на колени, просит его выручить. Я—и руками и ногами: от роду королев не играла, ступить не умею. Тут труппа стала упрашивать, ради денег. Помилуйте, вопила я, да ведь это комедия. Как публика на меня посмотрит? Меня успокаивали, что публика не осудит; все знают,

что я играю поневоле. Костюм сшили на казенный счет.

Выучила я Елизавету. Пьеса—да не пьеса, а вырванные сцены из перевода Шишкова [1]), вся роль Марии, и другие только подавали реплики. Колюбакин играл какого то добродетельного лорда, да уж такого дряхлого, что ничего не говорил, только издавал какие то звуки: роль, конечно, не учил. Суфлер помирал со смеху над ним в своей будке.

Мне посоветовали надеть рыжий парик. Так как Елизавета была некрасива, то его сделали с фальшивом лбом, и я, бог знает, на что была похожа. Имея свои густые волосы, я не выносила париков; уже до открытия занавеса (я начинала во 2-м акте) я света божьего не видела, у меня зеленые круги в глазах были. Костюм тяжелый: белое атласное платье с серебром, бархатная порфира с горностаем тянули меня к земле. Стрелкова измучилась со мной на репетиции, уча ходить, поворачиваться: все выходило у меня порывисто и неуклюже. Когда открывали занавес моего акта, слышала сдержанный смех в публике; должно быть, я была порядочная чучела.

В сцене свидания двух королев я залюбовалась Стрелковой. Она видела Ристори [2]) и ловко

[1]) Шишков Александр Ардалионович (1799--1832), поэт и переводчик, имел какие то связи с декабристами, был близко знаком с Пушкиным (к нему обращено стихотворение Пушкина „Шалун, увенчанный Эротом и Венерой").

[2]) Аделаида Ристори, знаменитая итальянская артистка; играла Петербурге в 1861 г.

подражала ей. Черное бархатное платье скрывало ее полноту, известная шапочка Марии Стюарт и пепельного цвета букли так шли к ее большим серым глазам. А главное, голос! голос! Когда мне надо было говорить после ее слов на коленях: «Глубоко павшей помогите встать»,— я должна была проглотить слезы, чтобы не выдать себя. Во время самой сильной сцены, когда она меня отчитывает, я загляделась на нее. Да, для нее одной стоило ставить сильные трагедии. Да много ли их? Стрелкова тяготилась играть пустые пьесы.

Работать мне приходилось много, играя и старых и молодых. Сам Новиков нашел нужным мне назначить второй бенефис, хоть уж имел зуб на меня за мою поддержку Колюбакина и Максимова против трагедии. В обращении со мной он резко изменился, начал говорить дерзости, попрекнул даже, что посылает за мной лошадь свою в театр. Все это мне было противно. Лошадь, конечно, я отослала и не велела больше присылать за мной, перестала бывать у него в доме. Отношения сделались натянутые. Как то на репетиции мы заспорили, и он при всех сказал: «Вы мне в ноги должны кланяться за второй бенефис; не стоите вы его». Я, конечно, вспылила, наговорила дерзостей и послала его к чорту.

— А, когда так,—вы больше не служите!

— Очень рада!

Этого я никак не ожидала; до окончания сезона оставался месяц, деньги были нужны;

приходилось вооружиться терпением, чтобы кончить только сезон.

Весть о нашей ссоре сейчас облетела весь город. Спектакль в этот вечер отменили. Знакомство у меня было громадное, вся губернская интеллигенция: я ставила спектакли в пользу детских приютов. Внезапное изгнание мое возмутило публику и она по своему вступилась за меня. В следующий спектакль должен был быть бенефис Шмитгоф. Ставили «Парижских нищих» с участием Стрелковой и моим. Шмитгоф сама приехала меня просить участвовать в бенефисе; заменить меня некем, а до моей ссоры с Новиковым ей дела нет.

После спектакля у нее назначен был дивертиссемент. Вместо дивертиссемента, я, по примеру петербургских афиш, посоветовала написать: вечер у Екатерины Борисовны (ее собственное имя), игра в фанты. Участвовавшие все названы собственными именами. Против имени выставлено, кто что будет делать: петь, играть, танцовать, читать. Кончается общими танцами. Я должна была читать стихи по своему выбору; я на стихи была мастерица. Когда Шмитгоф уехала, я пошла бродить по улицам. Скверно было на душе. Хотелось отомстить Новикову каким нибудь стихотворением, но ничего не могла придумать. Попался навстречу наш суфлер Иванов, гулял со мной и предложил зайти к Шумилиной, живущей по пути. Она давнишняя орловская жительница, не пер-

вый год играла в Орле, но у нее я никогда не бывала. Та приняла очень радушно, самоварчик поставила. За чаем я высказала свое горе на счет Новикова и стихов. А она и говорит:

— Да чего же лучше, нравоучение в басне Крылова «Мешок», мешок—его биография.

Шумилина много мне рассказывала про Новикова, которого знала давно. Репутация его сильно хромала. В 1848 г. он был исправником и во время голода запер хлеб, скупал и продавал по дорогим ценам, попал под суд; потом служил при откупах, там нажился и с толстым карманом вышел в люди. Избран хозяйственным старшиной орловского клуба, надо отдать ему справедливость, вел дело очень хорошо, как и подобает человеку, вышедшему из ничтожества; остальные были дворяне—баре, конечно, денег считать не умели.

Басен Крылова я еще не читывала публично, хоть с детства много знала наизусть, но в голову не приходило щеголять ими на сцене. Но теперь вспомнила «Мешок», приободрилась и решила его читать. Шумилина умоляла не выдать ее. Она была бедная и находилась в долгу у Новикова, если он узнает, может погубить ее.

В городе узнали только, что я буду читать басню Крылова, какую—неизвестно. В день представления утром на репетицию приехал полицеймейстер спросить, какую я басню выбрала.

— «Мешок».

— Позвольте прочесть.

Я подала книгу.

Возвращая ее, он сказал:

— Басню читать можно, но нравоучение не читайте.

— Не имею права,—отвечала я,—сокращать басню. Вы видите, она одобрена цензурой и ничего неудобного в нравоучении нет.

Он ничего на это не возразил и дал разрешение.

Начался спектакль. Каждый мой выход встречался громкими рукоплесканиями, каждый уход—вызовами. Мне долго надо было откланиваться. Интермедии ждали. Губернатор в конце драмы уехал из театра во избежание скандала. Новиков скрылся в своей аванложе, семьи не взял в театр. Сцена началась разыгрыванием фантов.

Когда вынулся мой фант, меня просили прочесть что нибудь. Я ответила:

— Право, не знаю, что читать. Разве басни Крылова? Вот басня: «Беда коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». (Взрывы рукоплесканий)—Или вот прекрасная басня «Мешок»,—и пошла... и пошла... т. е. всем нутром. Хохот, хлопанье страшное... но... желая задеть одного, я обидела многих. Мне передавали, что все, занимавшиеся откупами, ругали меня; потом, не помню, в какой газете, была написана статейка, нарочно заказанная, где меня ругали, как женщину.

С Новиковым чуть не сделался удар. Стрелкова обиделась такой овацией мне и на другой день решила уехать.

Я должна была поневоле сделать то же. Собрали клубный комитет. Решили просить остаться меня; я была полезнее Стрелковой, Новиков—ни за что, так как я его при всех послала к чорту. Он говорил, что не иначе согласится, если я публично попрошу у него прощения. Приезжали меня упрашивать, ради общего дела. Я согласилась. Решено было привести меня утром в залу дворянского собрания. Я тряслась от злости, но не могла не оказать любезности окружающим, за мной приехал Курлов, жандармский или воинский начальник, уж не помню. Народу собралось довольно, Моисеев говорил от лица всех. Кто он был—не знаю.

— Александра Ивановна, Иван Федорович оскорблен вами...

Я, было, хотела оправдываться, но он мне не дал рта разинуть:

— Согласитесь, что вы резко поступили.

— Ах, конечно, — сказала я, — вспомнила, сознаюсь в этом, но...

— Ну вот, нам больше ничего не нужно.

Новиков тоже хотел что то выразить, но ему не дали рта разинуть:

— И вам, Иван Федорович, ничего больше не нужно. Александра Ивановна сознала свою ошибку.

Так я и осталась доканчивать сезон, Стрелкова уехала. Новиков заставил меня играть ее роли, думая уронить меня в глазах публики. Пришлось играть французские мелодрамы: Серафиму Лафайль, Клару д'Обервиль, но это не трагедии, и я

могла исполнить их прилично. Я заручилась любовью публики удачным исполнением. К тому же все знали, что мелодрамы я играю поневоле.

Впечатление, вынесенное мною от провинциальных артистов, было нерадостное; были талантливые люди, но большею частью недобросовестные, особенно мужчины, хоть и добродушные. Вечно без денег, живут одним днем. Нынче он здесь, а завтра по капризу уезжает, хоть и контракт заключен, а не захочет играть и не будет, а взять с него нечего. Ищи его — судись с ним. Нынче женщины завистливы и ядовиты. Я никогда ни с кем из них не имела столкновений, относилась ко всем дружески, просто, да иначе я и не умела по своей натуре. Но досадуя на то, что имею много знакомств, актрисы часто кололи меня, называя с насмешкой «генеральша», ваше превосходительство.

Когда уехала Стрелкова, то один муж, подстрекнутый своей женой, решил поставить меня на сцене в смешное положение. Играя в одном водевиле со мной моего пьяного отца, он схватил меня за голову крепко и стал так бегать со мной по сцене. Я смолчала, желая докончить сезон благополучно. Жене этого мужа хотелось выжить меня; по ее словам, она на моем месте слупила бы с антрепренера хорошие деньги за роли Стрелковой, которые приходилось играть мне. А так как те же роли иногда играла она, то, видя, что я молчу, должна была молчать и она.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Жизнь в Москве в 1864-68 г. — Смерть М. С. Щепкина. — Гастроли в Твери. — Возвращение в 1865 г. на сцену московского Малого театра. — Дачная жизнь под Москвой летом. — Кн. А. И. Урусов. — Миша Лентовский. — Смерть сестры П. С. Мочалова. — Заботы о его внучатах. Артистка Н. М. Медведева. — Театральные порядки. — Неожиданное распоряжение об увольнении от службы до срока контракта. — Начатый кн. А. И. Урусовым судебный процесс о незаконном увольнении. — Уход в 1868 г. с императорской сцены.

Приехала в Москву в 1864 году на первой неделе поста, остановилась в гостинице против Малого театра. Денег привезла чистых 400 руб. Это в первый и последний раз. И то этим я обязана Ю. Н. Барсовой, которой отдавала на сохранение, она меня удерживала от излишних расходов.

Первой грустной мыслью по приезде в Москву было, что я не найду больше М. С. Щепкина, скончавшегося во время моего пребывания в Орле, 11-го августа 1863 г. Я тотчас отправилась к его сыну Петру, который жил уже на маленькой квартире. Я не могла удержаться от слез, встретившись с ним. Узнала, что вся многолюдная семья Щепкиных рассыпалась

в разные стороны. Потом поехала к Кетчеру. Его дом—против квартиры, которую в последнее время занимал Михаил Семенович. Увидя, что квартира Щепкина отдается внаймы, я зашла посмотреть те комнаты, где так недавно жил этот христов человек. Все это огромное пустое помещение только что было оживлено столькими людьми. Мне хотелось сосредоточиться... Как на грех принесло Игнатьева, хозяина дома (или он был управляющий). Он был знаком с М. С., узнал меня и начал показывать, как отделал квартиру. Я ему объяснила, что мне не нужно квартиры, что я зашла ради воспоминаний, но он ничего не понимал, толковал об окнах и дверях. Я поспешила уйти.

У Кетчера жил Миша Лентовский. Так как Миша был поручен вниманию всех близких Щепкину людей перед отъездом М. С. на юг, то он ходил к кн. А. И. Урусову [1], Новосильцевым и Митрофану Павловичу Щепкину [2]) учиться разным предметам. Кроме того, ему позволено было брать уроки танцев и пения в театральной школе. По моем приезде со всех сторон сыпались на него обвинения, что не учится, манкирует уроками и поздно возвращается домой. Я также приняла в нем участие и бранила его без церемонии.

[1]) Кн. Урусов Александр Иванович (1843—1900), известный юрист.

[2]) Щепкин М. П. (1832—1908), публицист и общественный деятель.

Летом я переехала на дачу в Давыдково. Жилось очень весело. Как то все перезнакомились, по ночам гуляли; пели песни хором. Здесь я познакомилась с Н. А. Чаевым [1]). Милая, симпатичная личность, но, к несчастью, муж своей жены. Его жизнь похожа на жизнь Аполлона Майкова, тоже оседланного женой. Урусов, тогда еще очень бедный студент, тоже переселился в Давыдково. С ним я была знакома через М. С. Щепкина. Он бывал у меня, потом сделался своим человеком в семье Петра Михайловича Щепкина. Тени в нем не было того, что он—ваше сиятельство. Страшно был влюблен в молоденькую актрису Никулину, бывал у Федотовой, писал театральные рецензии и был очень беден. В Давыдкове я постоянно приглашала его к себе обедать, чай пить. Он бывал, но часто коробил меня, повторяя, что объедает меня. Один раз в знак благодарности принес пол-фунта чаю. Я всегда была гостеприимна и любила угощать, но в его тоне слышалось, что ему неприятно одолжаться часто. Однако, голод—не тетка.

Жили еще в Давыдкове студент Прокофьев и Склифасовский [2]), они часто бывали у меня, мы вместе гуляли, вместе читали вслух. Помню, однажды они принесли мне, кажется, Бокля, и я начала читать вслух. Но пришел Урусов,

[1]) Чаев Николай Александрович (1824—1914), драматург.
[2]) Вероятно, Склифасовский Николай Васильевич (1836—1904), знаменитый хирург, профессор.

прервал чтение и сказал, что они делают глупость, давая мне читать книги, для которых надо быть лучше подготовленной. Прокофьев и Склифасовский любили гулять с деревенскими ребятишками и так привязали их к себе, что те всюду бегали за ними. Они вздумали их учить грамоте. Комната Прокофьева каждый день превращалась в школу; тут были и девочки и мальчики. Склифасовский тоже помогал ему. Я сделала им тетрадок для писания. Дело шло очень хорошо. Ребятишки учились очень охотно. Однажды утром я сидела у Прокофьева во время класса. Является староста этой деревни и говорит молодым людям, что батюшка – священник не позволяет им учить ребят, что это не их дело, а если дети хотят учиться, то пусть обращаются к нему, т. е. к батюшке. Так и прекратилось это хорошее дело.

Здесь еще жил юноша, весьма оригинальный, из вольных слушателей университета, некто Вагнер. Хорошенький, как амур, очень богатый, щеголявший в русском костюме. Белая или голубая шелковая рубашка, руки, унизанные бриллиантовыми кольцами. Он сирота, сын костромского помещика, под чьей то опекой. Упоминаю о нем потому, что интересна его судьба. Сам он жизни совсем не знал, а опекун так опек его, что через несколько лет я увидела его совсем в другом виде. Оборванный, без белья, он в 32 г. просил милостыню, спал в ночлежном доме. Его взял к себе из жалости какой то кух-

мистер и он должен был рубить котлеты и выливать помои. Впоследствии, когда Лентовский стал антрепренерствовать в Москве, он дал ему место: принимать при входе билеты за 15 р. в месяц. Как обрадовался бедный юноша! Он счел себя богатым. Сильно принижает бедность, он с больной ногой не смел сесть при других, а когда то фигурировал в 1-м ряду.

В Духов день за обедом слышим в соседней деревне Мазилове пожар. Погорел актер Полтавцев [1]), все до тла у него сгорело. У нас в Давыдкове тоже был пожар. Погорела изба у вдовы, очень бедной, имеющей пять человек детей. Чаев предложил помочь ей тем, чтобы на открытом воздухе устроить публичное чтение и концерт, т. е. игру на рояле. На конце деревни, к лесу, была чья то дача, уж не помню,— с большой террасой. Она была эстрадой. Перед дачей находилась луговина. Все дачники нанесли стульев, скамеек. Из Кузнецова, Мазилова и Волынского пришла и приехала публика и был отличный сбор. Участвовали: Чаев, Урусов, Нальп (рояль) и я.

Кончилось лето. Надо было отправляться играть в Тверь, куда я получила приглашение на зиму. Милые мужички, которых я так люблю, поднадули меня: я им платила за наем дачи по частям, а расписки и не думала брать. Они отреклись от некоторой части полученных денег

[1]) Полтавцев Корнелий Николаевич (1823 - 1865), актер Малого театра.

и мне пришлось приложить за свою оплошность. Впрочем, в то время дачи были очень дешевы. Я платила за избу с двумя половинами 35 р. в лето. Готовила на хозяйской кухне с моими дровами.

Сын мой Александр отправился в пансион к Циммерман. Я с дочерью и бывшей ее кормилицей собралась в Тверь. Меня поехали провожать Над. Ал. Никулина, М. П. Щепкин, Ив. Ал. Александров и В. Е. Грачев. Мы приехали в Тверь вечером, остановились в гостинице, а в три часа утра мои провожатые должны были воротиться назад в Москву. Погода и ночь были отличные, мы долго гуляли по улицам.

Тверь прелестный городок, хорошо обстроенный, содержится чисто. Посреди города—река с прекрасной набережной. В Тверь я имела поручение от Кетчера отвезти книги М. И. Муравьеву-Апостолу [1]). Семейство М. И. состояло из жены и двух воспитанниц, вывезенных им из Сибири. С одной из них, Авг. Сазанович, я очень сошлась. Это была развитая, широко образованная девушка. Вообще все семейство приняло меня очень радушно, и я в их доме отдыхала душой.

У них я опять встречалась с Ф. Н. Глинкой, который бывал у моей сестры. Теперь он был уже вдовец, жил постоянно в Твери и с М. И.

[1]) Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793—1886), известный декабрист, приговоренный к смертной казни, замененной затем каторгой.

был на «ты». Но когда М. И. перевели в Тверь, он и не подумал возобновить с ним знакомство до тех пор, пока не приехал к М. И. первый с визитом один из известных Муравьевых и не выхлопотал ему какие то права. Тогда только древний Глинка не побоялся вновь сойтись с ним.

Театр в Твери был вполне скверненький, маленький, грязный, с одним ярусом лож; посредине раек, бенуары и кресла. Сцена грязная, уборные ужасные. Вообще бедность большая. Антрепренеров два, а труппа горестная. Иногда нас посещали московские гости. Приезжала, например, Е. Н. Васильева, Самарин. Я выписывала в свой бенефис певца Лазарева и рассказчика Ореста Горбунова, брата И. Ф. Горбунова [1]), конечно, за плату, по 15 р. каждому. В Твери я не дослужила сезона и уехала после 16-го декабря вследствие неприятностей, каких — не помню, только не денежных.

1865 год встретила в Москве, без места, живя на одну пенсию. Однажды ко мне приехал В. И. Родиславский, заведывавший в театральной конторе, кажется, репертуарным столом. Он был страстный поклонник моего таланта, до смешного. Кажется, лучше меня и не бывало актрис на роли ingènue. Он посоветовал мне подать просьбу об определении снова на московскую сцену. В то время московская русская

[1]) Горбунов Иван Федорович (род. в 30-х гг., ум. в 1895 г., известный рассказчик, актер и литератор.

опера была очень плоха. Министр приказал давать драматические спектакли и в Большом театре. В виду двойных спектаклей я не могла быть лишнею. Инспектором был Неклюдов, репертуаром заведывал кн. Кугушев, режиссировал А. Ф. Богданов. Неклюдов принял меня очень любезно, изъявив удовольствие снова принять меня.

В это время муж подал заявление, что не позволяет мне поступить на сцену. Тогда я представила его бумагу, данную мне на прожительство, и сказала, что я воспитываю сыновей, пенсии мне недостаточно, я должна еще зарабатывать. Если он не позволит играть под моей фамилией Шуберт, я сниму кабак и буду торговать водкой под фамилией Яновской: в это время была объявлена вольная продажа вина. Он больше не противоречил, и я поступила в театре на старых условиях. Дебютировала я в «Воспитаннице» 12-го июня 1865 г. Потом все играла старух, но, кроме «Воспитанницы», все было слабо: я еще с этим ролями не освоилась, да и голос был звонок.

М. С. Щепкина не было, и я чувствовала себя одинокой. Партия Садовского имела вес. К тому же на роли старух стала переходить Васильева: она была со всеми свой человек. Шумский не мог принять во мне участия; Богданов, хоть и любил меня, как и его жена, но был человек очень осторожный. Попалась мне было роль в пьесе Потехина «Отрезанный ло-

моть», но после нескольких представлений пьеса почему то была запрещена. Так ломтик изо рта и выпал.

Это лето я опять прожила в Мазилове. Миша Лентовский совсем забаловался, так что Кетчер должен был выгнать его из дому. Миша пришел ко мне. Я взяла его на дачу и предложила ему поступить на провинциальную сцену, обещаясь рекомендовать в Орел, где у меня было много знакомых. Отправила его и он потом скоро встал на свои ноги.

В Мазилове и Давыдкове опять собрались старые знакомые: Чаев, Урусов, Никулина и др. Прибавился Плещеев с троими детками, только что потерявший молодую милую жену. Полтавцев жил в Давыдкове. Я один раз засиделась там и осталась ночевать у архитектора Рязанцева. Утром, напившись чаю, хотела итти домой, как вдуг закричали «пожар!» И в час с чем нибудь полдеревни с двух сторон как не бывало. Пожар с одной стороны кончился новой избой той бедной вдовы, в пользу которой в прошлом году устраивали чтение. От ее избы начинался широкий переулок; с другой стороны начали ломать избы и прекратили тем пожар. Доктор Мариинской больницы Щуровский, обремененный громадным семейством, все потерял, а жена его получила сильные ожоги. Я забрала к себе детей Щуровского и пошла домой, чтобы приготовить кушанье некоторым знакомым. К вечеру наготовили, что могли, сложили

в детскую колясочку моей дочери и повезли в поле, куда выбрались погорельцы со своими пожитками. Из Кузнецова также кое кто прислал съестного и, как цыгане, все должны были провести ночь около пожитков. Погода, к счастью, была хороша. Но вот ужасное зрелище, которое всех довело до слез. В свое время пришел скот с поля и, не видя своих жилищ, принялся реветь, да так жалобно, словно понял, что случилось несчастие.

На другой день было положено устроить подписку и литературный вечер. Отрядили меня приглашать Садовского, Шумского, Самарина и какого то виолончелиста, не помню. Я отправилась сначала на Шелепиху к виолончелисту, потом к Садовскому на Башиловку, к Шумскому в Покровское-Глебово, и к Самарину в Иваньково. Все изъявили согласие. Надо было только дать знать, в какой день приехать. Я вернулась поздно и на другой день пошла дать Чаеву ответ. Торопила его действовать по горячим следам и скорее назначить им день. Но Чаев сказал, что прежде надо устроить молебствие — это важнее. Другие поддержали его. Не знаю, через сколько дней состоялось чтение, на молебствии я не была, но вечер не удался. Перед началом чтения поднялась такая буря, что и публика и участвовавшие разбежались. Из приглашенных был только один музыкант, остальные не приехали. Не знаю, сколько было собрано денег.

Из Мазилова я переехала в гостиницу Ломакина, что против Малого театра. Номер наняла я с кухней. Тут же жили Талановы, и мы готовили в одной печке. Таланова женщина добрая, но нервная, вспыльчивая, говорила очень резко о чем бы то ни было. Казалось, что она постоянно сердится. В театре ее не любили, потому что она пришлая, т. е. из провинции. Мужчины из провинции скорее сходятся, но дамы гораздо сердитее. У меня всегда бывало много гостей. Как то в праздник был у меня пирог. Народу набралось довольно. У меня не хватило пирога, я бросилась в кухню, вынула пирог Талановой и отрезала половину, но не успела ей сказать об этом. К ней тоже кто то пришел и она удивилась, что ей подали полпирога. Неприятности между нами, конечно, не было, но история о пироге разлетелась по всему театру. Все страшно хохотали и подтрунивали над Талановой, что она такая сердитая, а я все таки не побоялась стащить у нее пирога.

В это же время мне сказали, что Марья Степановна Мочалова умирает в Шереметевской больнице. Я ее после смерти М. С. Щепкина не видала и не знала, где она живет. Я сейчас отправилась ее навестить, понесла чаю, варенья, хлеба, но напрасно: я ее застала еле живой и узнала только по надписи над кроватью. Это было за два дня до ее смерти. Она могла еще говорить и рассказала, что ее племянница Ка-

тенька, дочь Павла Степановича, в настоящее время в крайней бедности, пьет и имеет четырех детей. Она просила, не могу ли я что нибудь сделать для этих детей. Один мальчик был определен уже в приют; две маленьких девочки находились у содержательницы кабака (прежней их прислуги), около Ваганковского кладбища, и просили милостыню. Старшая хорошенькая девочка была любимица матери и жила при ней. Ее хотелось бы определить в театральную школу.

Я обещала употребить все старания и простилась с Марьей Степановной. Тут веселый характер ее взял верх.

— Похороните меня, Александра Ивановна, и помяните как следует; только не вздумайте пирогами с рисом — всегда рис терпеть не могла.

Она завещала положить ее на том же кладбище, где М. С. Щепкин: «к нему придут родные на могилу и ее помянут». После похорон я отправилась первым долгом к Екатерине Павловне и передала ей завещание М. С. Мочаловой. Она обрадовалась за старшую Машу, а до других ей дела не было: она их не любила, так как они были некрасивы.

Осень была холодная. Я была к счастью в шубе и тотчас взяла Машу. Ни бурнуса, ни кофточки, даже не помню, был ли у нее на голове платок. Я привезла ее к себе, спрятанную в мою шубу. На другой день послала в ка-

бак за другими двумя. Эти девочки были привезены босиком, в лохмотьях, но очень веселые, добрые и смешные. Они пели песни весьма легкого содержания про монашенок и солдат, ничего не понимая, конечно. При помощи Неклюдова и кн. Щербатовой их удалось обеих скоро поместить в приют. Маша надолго застряла у меня. Эта девочка в 11 лет была уже совершенно испорчена и говорила о матери ужасные вещи... Наконец, выручил К. Т. Солдатенков[1]), согласившись платить за нее. Я поместила ее в Николаевский приют... И потом потеряла ее из виду, когда началась моя странническая жизнь по провинциям.

В 1866 г. я получила по милости Кетчера роль в «Виндзорских проказницах», которая удалась мне. Вообще надо сказать, что я играла. то мне давали по особой протекции. Существовали разовые, и потому роли, конечно, караулили: трудно было попасть в репертуар. Играла я в пьесах: «Свекровь», «Часы», «Самоуправцы» Писемского и в «Гражданском браке», где получила роль немки, такую пустую, что стыдно было брать 10 руб. разовых.

Я высказала это Живокини. Он меня разбранил за неуместную деликатность. Однако, когда мне удалась роль Квикли, я отказалась от «Самоуправцев» и осталась в дурах: эту роль взяла Колосова, которая получала не 10 р. разовых, а 15 р.

[1]) Солдатенков Козьма Терентьевич (1818 — 1901), известный книгоиздатель и меценат.

До 1866 года я сыграла всего 28 раз. Я чувствовала, что мне плохо, злая судьба преследует меня, а выпрашивать роли стыдилась. Инспектор репертуара Бегичев не благоволил ко мне. Однажды Неклюдов спросил, отчего я редко появляюсь на сцене, лишаю его возможности полюбоваться мною и занимаю чуть не выходные роли? Я ему ответила, показывая на Бегичева, который тут стоял:

— Вот у него спросите.

На другой день через режиссера получила выговор от Бегичева, чтоб я так не выражалась.

К несчастью, меня считали умной, но хитрой и злой. Кетчер, добрейший человек, хорошо понимал меня и всегда звал бестолковой. Он в это время был в дружбе с Самариным и часто езжал к нему. Однажды он приехал ко мне, застал меня одну и предложил ехать к Самарину обедать в Иваньково. Я, конечно, отказалась, говоря, что Самарин меня терпеть не может, хотя я ему никогда ничего не сделала неприятного. Но он видит во мне сестру моего брата, который доканал его, как режиссер, на петербургской сцене. Кетчер, по обыкновению, захохотал и сказал, что все вздор, что я сочиняю, что, если я с ним приеду, мне будут рады. Я не могла отделаться.

Самарин жил с матерью и сестрой, старой девой. Не могу забыть эффекта моего появления: они озадачились и перепугались, точно чорт появился у них. Обед прошел вяло, натянуто.

Как ни старался Кетчер поддерживать разговор, ничего не вышло. Я скоро после обеда уехала, и Кетчер понял, в какое неприятное положение поставил и меня и их.

Наняла я квартиру в Трубном [1]) переулке на Поварской по соседству с Писемским и Медведевой, которые имели дома в этой же местности. Большею частию время проводила у них, так как играла редко. С Н. М. Медведевой в это время я очень сошлась. Она вышла в отставку по болезни, надеясь выйти замуж за полковника Огарева, который несколько лет считался ее женихом. Так как она имела счастье заслужить одобрение своей игре от государя, то ей дали отставку с пенсией и с правом поступить снова, если поправится в здоровье. Все ей удалось: выйти в отставку, за 12 лет получить полную пенсию, и вдруг она узнает, что Огарев и не думает на ней жениться, находя, что на актрисе жениться полицеймейстеру неловко, а взять ее со сцены,—содержать нечем.

В горе и слезах она приехала ко мне излить душу. Почему она выбрала для этого именно меня,—не знаю. Пока ей везло, она очень надменно держала себя со всеми и меня звала даже Сашенькой, хотя я гораздо старше ее и всегда называла ее Надеждой Михайловной. Остальные звали ее полковницей, конечно, заглаза. Она громко выражала свое презрение ко

[1]) Вероятно, Трубниковский.

всем, кто жил незаконно, так она была уверена, что она невеста. И вдруг такой ужасный удар для ее самолюбия! Я стала ее уговаривать вновь поступить на сцену, иначе она пропадет с тоски, да ей и рано еще ничего не делать.

Она меня послушалась, подала бумагу и между прочим предупредила меня:

— Вы меня уговариваете поступить на сцену, но вас могут исключить, потому что вам отдан мой оклад, мне на это намекнули.

Надо сказать для характеристики тогдашних театральных порядков, что в московском театре было правило нанимать актеров на имеющиеся свободные оклады или один оклад делить на нескольких. Мой прежний оклад, оставшийся по выходе моем в 1863 г., был уж роздан и вторичный прием меня на сцену состоялся потому, что был свободен оклад актрисы Медведевой. В ответ на ее предупреждение я сказала, что у нас все возможно: захотят выгнать, найдут предлог выгнать, хотя от мысли об отставке я была далека.

Медведева вышла в первый раз в бенефис Шумского (1867) в «Гражданском браке» в роли баронессы Дахреден. Ее отлично приняли, она стала спокойнее и с горем своим примирилась.

Я ничего хорошего не играла.

17-го февраля 1867 г. незабвенный для меня день. Я была у моего друга, старшей Никулиной, или тети Души, как звала ее моя дочь, по случаю дня ее рождения. Вернувшись домой до-

вольно поздно, я нашла бумагу, подписанную министром Адлербергом, что увольняюсь от театра. Это меня поразило. Чуяло мое сердце, что по окончании контракта меня могут уволить за бесполезность, но срок контракта был еще в 1868 году. Это было что то беспримерное!

Случалась выключка огулом, так называемая massacre des innocents, только в виде нескольких человек, чтобы составить сумму, которая разлагалась на других по усмотрению дирекции. Но тут, ни с того ни с сего,—одну. Значит, эта одна была что то ужасное. К моему счастью, уже были открыты новые суды. Я поехала к Петру Михайловичу Щепкину, товарищу председателя окружного суда; показала ему копию с контракта, где сказано, что я или они должны за три месяца уведомить, если не хотят возобновить контракта, и что это должно соблюдаться. Я спросила, имею ли право жаловаться.

— Полное право имеете. Как получите из конторы расчет, так и подавайте.

Кн. Урусов взялся быть безвозмездным адвокатом, он был в то время уже в славе. В театре тоже всех поразила моя отставка. Хотя меня и не любили, но знали, что у меня семья на руках, которую я должна содержать.

Друзья мои меня очень жалели, и в мои именины 18-го марта собралось у меня много народу, но я и угостить по обычаю ничем не могла. Родиславский советовал ехать в Петер-

бург и хлопотать об определении на тамошнюю сцену. Я не имела на это денег, а занимать не хотела, зная, что ничего там не добьюсь по своей нетактичности. Я совсем потерялась.

Московское начальство говорило, что это Петербург меня уволил. Я сама верно ничего не знала. Шумский рассказывал так: приближался выпуск из школы воспитанниц и не доставало суммы. Будто бы Пельт и Бегичев писали к директору в Петербург, что меня можно исключить, а мое содержание роздать воспитанницам. Они писали простым письмом, а не бумагой за №, как это обыкновенно делается. Никто бы и не узнал, но директор им ответил оффициальной бумагой, что если они находят меня лишней, то могут исключить. Насколько это правда, не знаю.

Так как я всегда была без денег, имела долги, пришлось продать весь мой гардероб за 80 р. Больше мне не давали. Квартиру я передала Богдановым, а сама наняла в Мазилове комнату за 15 р. в месяц. К моему горю прибавилось еще новое. Сын мой, Александр, провалившись на вступительном экзамене в гимназию, обратился за покровительством к крестной, т. е. к моей сестре Орловой. Она в это время была уже замужем за Савиным, жила в Осташкове, и мы были в ссоре. Не знаю, что он ей писал, только она очень обрадовалась, что он обратился к ней, и ответила, что поможет ему докончить образование. Я его отправила к ней.

Но он с ней не поладил. Она его отослала назад, как только узнала, что я в отставке, посоветовала ему сделаться провинциальным актером и поехать со мной по провинциям. Он приехал со слезами и раскаянием. Но я ему сказала, что уже ничего не могу сделать для него, он может итти на все четыре стороны и избирать себе род жизни, а я дармоедов содержать не намерена. Он переехал к одному из своих товарищей, который принял в нем участие, взялся приготовить его в гимназию, что и выполнил. Имя этого доброго человека Петр Петрович Зилов.

Могу сказать, что я счастлива: во все тяжкие минуты моей жизни, как с неба, являлась мне помощь неожиданная. Насчет провинции выручил меня опять А. Ф. Богданов. Приехал из Вильны граф Ожаровский [1]) набирать труппу, обратился к Богданову, а тот послал его ко мне. Мы условились. А гардероба у меня ни нитки не осталось: эта дрянь годами наживается. Оказалось еще, что я не могу поехать, пока не окончится мой процесс, иначе я потеряю. Пришлось покориться.

Получила расчет из конторы и князь Урусов начал процесс. Как громом поразило заявление окружного суда нашу администрацию! Они не ожидали такого ассаже своему произволу. Министр вышел из себя и приказал нашей конторе устроить все миролюбиво.

[1]) Вероятно, Константин Федорович Ожаровский (1823—1893).

Помню, как сейчас, в один пасмурный день я сидела на бревнышке перед дачей в Мазилове. Был маленький дождик. Вдруг вижу, идет один из наших конторских чиновников, некто Спиро, подходит ко мне и говорит, что прислан от начальника конторы Пельта: нельзя ли пойти на мировую? Я отвечала, что никакой мировой не принимаю и не понимаю. Как он ни уговаривал, я решительно отказала. Всю вину, говорят, взял на себя чиновник Сокольский; ему за это и чин и крест дали и оклад прибавили.

Между тем весть разнеслась, судоговорения ждали, не ради моей маленькой особы, но Урусову было где развернуться, чтобы показать все театральные злоупотребления. К несчастью, это не удалось. Они тоже взяли адвоката и порешили, чтобы я дослуживала свой срок. Мне все сполна выплатили. Когда мне передал это Урусов, я испугалась, думая, что меня заставят играть, бог знает что: хоть, например, Офелию в «Гамлете», а по нашему уставу я не имею права отказываться от ролей. Урусов мне сказал, чтобы я не отказывалась играть хоть Офелию: тогда еще больше можно будет писать про них во всех газетах.

Однако, дело вышло иначе: я ничего не играла, получала только деньги и дослуживала. Вдруг понадобилось меня вытребовать: захворала Акимова. Я и прежде за ее болезнью играла «Светские ширмы» и чередовалась с нею. Приехала вечером карета. Я отправилась. Прежде

всего встретила двух суфлеров, Ермолова и Витлебена. С каким разговором я ни обращалась к ним, они не отвечали. Сначала я не обратила на это внимания. В уборную бывало кто нибудь придет поболтать,—тут ни души, словно я—зачумленная. Только 3 человека отнеслись ко мне радушно. В. И. Живокини, тот поцеловал меня и сказал: «Умница, Сашенька, умница!» Дмитреевский сказал: «Спасибо, Александра Ивановна, пора проучить этих подлецов. Как выйду на пенсию, убегу отсюда». Третий—М. Н. Владыкин.

Так как в Вильно я не поехала, то и не знала, пригласят ли меня на следующий 1868 год. Опять неожиданная помощь: Петр Михайлович Щепкин пригласил жить вместе на даче в Парке. Я, сын, дочь и нянька за 25 руб. в месяц. В это время скончалась Колосова. В газете «Парус», издаваемой Аксаковым, было написано, что Колосову может заменить только Шуберт, но «мы не знаем, служит ли она». Видя, что мне место очистилось, я подала прошение, даже на меньших условиях. Но мне отказали, а министр, говорят, взбесился и сказал, что если бы можно, не только в театр, но мимо театра меня не пускать.

К счастью, пришло приглашение из Вильны, и я вздохнула свободно. Однако, тут у меня явился страх за дочь. Начитавшись в газетах о польских неистовствах, я боялась, что по ненависти к русским поляки могут девочке при-

чинить вред или обидеть, как было в Варшаве с русскими детьми. Я, было, не хотела ехать и думала, не удастся ли найти место в другую провинцию. Но тут меня выручил П. М. Щепкин, он предложил взять Зину к себе. Я этому очень обрадовалась. Прислугу наняла в Москве, боясь польской; сделала несколько платьев, опять вошла в долги и отправилась в начале октября 1868 г. С этих пор началось мое мыканье по провинции.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Служба на провинциальной сцене в 1868-80 г.—Русский театр в Вильне.—Директор граф Ожаровский, артисты Варламов, Большаков, Фанни Козловская. — Отношение к театру публики. — Частный театр в Лесном под Петербургом в 1871 г. — Театр в Саратове, антрепренер Никитин.—Казань.—Орел.—М. Г. Савина, П. А. Стрепетова.

Приехав в Вильну, явилась к директору графу Ожаровскому и у него познакомилась с другим директором, генералом Цейдлером [1]).

Виленский театр был казенный и находился под управлением нескольких директоров, кстати сказать, беспрестанно сменявшихся. Я в Вильне прослужила три сезона в разное время и при разных управлениях. Граф Ожаровский, по уму, образованию и уменью держать все в порядке, был лучше всех; наши же генералы, российские, были один глупее другого, что будет видно ниже.

Русский театр был насажден насильственно на иноземной почве. Как мне ни толковали, что Литва исстари русская и православная, но мне это воочию не видно было.

[1]) Цейдлер Михаил Иванович (1816—1892), генерал и художник. товарищ Лермонтова по юнк. школе и по полку (к нему обращено стихотворение Лермонтова: „Русский немец белокурый").

Первое, что меня поразило, это масса евреев, и в то же время обозлило: я видела грязь и ужасающую бедность. В центре города у ратуши, из которой сделан театр, мириады этих нищих с мелким товаром. Другая часть населения— поляки, разоренные и покорные судьбе. Богатого класса нигде не видно было, ни на улицах, ни в костелах: они или выехали, или попрятались. На стенах домов прибиты карточки, что говорить по польски запрещается. Я приехала с мыслью, что поляки злы, мстительны, начитавшись в газетах о их самоуправстве. Русское население известно, какое было: теперь это уже всплывает наружу. Есть еще в окружности староверческие русские деревни; мне, к сожалению, не удалось там побывать, но о них общий отзыв, как о разбойниках и конокрадах.

Я потому пишу подробно о жителях, что, способная увлекаться, я сначала перенесла всю свою симпатию на поляков, но, поживши с ними долгое время, оттолкнулась от них и полюбила евреев.

Театр в Вильне хорошенький, но такой маленький, что подобного я нигде не видывала, да вряд ли и есть где подобный, развс в уездных городах у нас, если есть там театры. Сбору в то время он давал 250 рублей. Поддерживался он субсидиями от города и правительства.

Труппа состояла из русских приезжающих и отъезжающих каждый год артистов и из местных

поляков, которые не выехали после восстания и могли справиться с русским языком.

Польская труппа до восстания была, по отзывам, замечательная. Судя по старым афишам, репертуар состоял из лучших французских и польских авторов. В то время, тоже судя по афишам, была и русская труппа, но какая то жалкая; играли все водевили для начала и для конца; из больших пьес только и помню «Ревизора». Некоторые польские артисты играли и в русских пьесах, но это совместное участие было только комедией: русские были на последнем плане.

После восстания приказано было играть только на русском языке, и осталось очень немного актеров поляков, кроме хора, который весь состоял из них. Помню очень талантливого комика и резонера Домбровского. Другие второстепенные, но и к делу относились разумно, ничего не портили и учили добросовестно свои роли. Видно, что были в хорошей школе. Остальные— все нашинские. Варламов [1]), тогда еще юноша, но подававший большие надежды. Он имел много данных, чтобы сделаться замечательным артистом; простота игры, наивность и бездна чувств!

Замечательный самородок был Большаков, к сожалению, рано погибший от пьянства. Без всякого образования, из портновских подмастерий. Не помню, как он очутился в Гродно.

[1]) Варламов Константин Александрович (1851—1915), знаменитый актер.

Бедствовал, спал под мостом, наконец, попал в театр ламповщиком, выходил на выхода и иногда играл маленькие роли. В Вильне, как я приехала, он служил уже второй год.

Небольшого роста, сухой, с тонкими чертами лица. Вне сцены он был хамоват, любил по старой привычке сидеть поджавши ноги калачиком; когда выпьет, становился дерзок. Но на сцене он преображался. Лицо его подчинялось всякой гримировке, он был неузнаваем. Но, что всего удивительнее, его влекли роли весьма серьезные: «Скупой» Мольера, «Холостяк» Тургенева и др.

В виленском театре, особенно при графе Ожаровском, было серьезное отношение к делу, да и польские артисты способствовали порядку. По нашему, по русски, второклассный и так называемый маленький актер уж как будто не человек; да и сам он не считает себя помощником в общем деле, а так—«есть, мол, нечего, так надо куда нибудь деваться».

Играли 5 раз в неделю, была оперетка—времени довольно для изучения ролей. Останься Большаков дольше в этой школе, он бы окреп: если кто и пил здесь, то вне театра, было какое то самолюбие. Попал Большаков в провинцию, там и утонул в вине!

В этот год наша труппа ездила играть в Гродно, дирекция взяла тамошнюю субсидию с тем, чтобы несколько раз в месяц давать там представления.

Более выдающихся артистов виленской труппы печатали в афише крупными буквами, в том числе и Большакова. Я свидетельница, что сначала тамошние удивились, что это тот самый Большаков, который был у них ламповщиком и в два года сделался серьезным артистом.

Не могу не упомянуть еще случай: в Казани он играл Наполеона I в нелепейшей драме того же названия. Когда я встретилась с ним за кулисами, у меня сердце захолонуло, точно я испугалась: так он был похож на оригинал, судя по портретам. Когда ему приходилось говорить на сцене французские фразы, то я учила его и это было безукоризненное французское произношение. Потом я на несколько лет потеряла его из виду, только слышала, что он женился. Последняя наша встреча была незадолго до его смерти, в московском артистическом кружке. Он пил уже до самозабвения, скучая; говорил, что недолго проживет. На мой вопрос, что довело его до такого состояния, он ответил: скверные денежные дела и прижимки антрепренеров.

Отчасти и правда, а отчасти и собственное неряшество и неподходящая среда.

Возвращаюсь к виленскому театру.

Фанни Козловская была прелестная, задушевная, высокоталантливая ingénue, умершая недавно в Харькове и оставившая по себе хорошую память, как артистка и как женщина. У нее было двое детей; второго она еще кормила сама. Муж—пустой малый, кутила и деспот.

Он был хороший музыкант, писал музыку и играл на скрипке. Говорят, что он был лучший ученик Венявского [1]), но в жизни никуда не годился. Я сошлась близко с Козловской и удивлялась на нее. У нее была только одна нянька, которая и кушать готовила, а Фанни сама себе должна была приготовлять гардероб, гладить и гофрить для театра. Как ее хватало? Да и не вынесла в конце концов: ей было 32 года, когда она заболела, играя больная, и скончалась от простуды в самом развитии своего таланта. Горько вспомнить жизнь тяжелую, трудовую моих провинциальных товарищей!

На роли старух была Ирина Семеновна Кони (Сандунова) [2]) очень живая, не без таланта, но уже беспамятная по старости лет. (Она давно была на пенсии.) Если забудет что из роли, то и понесет свое, пока не перебьют. Вообще— бой-баба, умела втереться к нашим русским виленским аристократам, забавляя их веселыми разговорами, ругала поляков вслух и вообще проводила русские тенденции, так что за нее было стыдно.

Я играла и старух и молодых. Мне было уж 40 лет, но я еще играла и «Бойкую барыню» и «Буку». Меня любили, отлично принимали, и я сама вздохнула легко, не видя здесь обычной нашей провинциальной беспорядочности.

[1]) Венявский Генрих (1835—1880), знаменитый польский скрипач.

[2]) Кони-Сандунова И. С. (1811—1891), актриса и писательница, жена Ф. А. и мать Анат. Ф. Кони.

Еще забыла о самой важной актрисе, Кирьяковой, совсем бесталанной, но умеющей вести свои театральные дела. Это было для меня новинкой: я этих штук не знала. Впоследствии, познакомившись с провинциальным бытом ближе, я увидала, что многие сами себе приготовляют успех, и это очень не трудно, нужны только смелость и хорошенькое личико. К несчастью, в данном случае личика то и не было, только одна смелость. Кирьякова прежде всего была, помимо театра, богатая женщина и играла на сцене по страсти. Ангажемент ее устроился так: она прислала графу Ожаровскому афиши из Харькова, где она играла главные трагические и драматические роли, рецензию, тамошние газеты, в которых ее хвалили, и свою карточку, изображавшую ее с черной вуалью на голове, очень интересною. Граф думал, что сокровище приобрел. Въезд ее устроился торжественно: она прислала сначала сестру с служанкой и собакой и велела взять лучший номер; потом получено было несколько телеграмм, в которых она справлялась о здоровье собаки. Все это было важно. По своем приезде она отправилась в ложу в театр, закрытая черным густым вуалем. Все старались ее разглядеть, ужасно заинтересовались. Дебютировала она в «Приемыше», роль воспитанницы, и получилось полное разочарование: не первой молодости, гнусавый голос, хотя и прекрасные глаза. Потом не знаю, что играла, но совсем не понравилась.

Публика виленская не без понимания; из евреев редкий не бывал в Варшаве или за границей; поляки не ходили, а если и бывали, то тоже люди понимающие; русские — большею частью петербуржцы, видавшие виды. Кирьякова сама сконфузилась и хотела уехать, но содержатель гостиницы, в которой она стояла, не хотел выпустить лакомый кусочек, Костровский режиссер—тоже, и она, к горю графа Ожаровского, осталась и играла по воскресеньям трагические роли с Костровским. Она была очень добрая женщина, и ее жалко было: охота смертная к сцене, а участь горькая. В свой бенефис она давала «Марию Стюарт», любимую пьесу евреев. Театр был полнехонек, в ложах по десятку их сидело. Я, несчастная, никак не могла отбояриться от Елизаветы, но решительно отказалась от расхода на костюм. Кирьякова дала мне свое белое атласное платье, казенную порфиру на меня напялили и корону. Я так и не переодевалась в 4-м акте и на свидание пришла в короне; очень уж я зла была,—пьеса шла отвратительно. Мне рассказывали, что какие то приезжие хотели освистать меня, но полицеймейстер не допустил, ибо я считалась первой актрисой. Жаль, лучше бы освистали, а то мне было замечено, что стыдно так относиться к роли, даже не переодеться, лучше не браться. И правда, да у меня ужасно характер нерешительный, меня всегда можно уговорить. Чорт с вами, только не приставайте.

В Вильне два воскресенья на неделе: настоящее воскресенье и пятница то же воскресенье по сбору, еще лучше. В пятницу вечером евреи не торгуют, в этот день играют оперетку или еврейскую драму, напр.: «Менахим-Бен-Израиль», «Уриэль Акоста», «Дебора» и Дьяченковскую «Современную барышню». Сборы полнейшие. В воскресенье дают русскую драму, но евреи вечером уж отпирают лавки и потому сборы плохенькие, полного ни одного не было. Вообще сборами театр плохо держался. Например, мой бенефис был в лучшее время, 3-го января, но очистилось только 300 руб. за всеми расходами. Что же можно взять с такого маленького театра, хотя он был полон.

По старой памяти о власти Муравьева [1]), который, приказывая ходить в театр, сам наблюдал, особливо за поляками, Островского ничего в это время не давали, только раз «Доходное место». Я спросила причину. Мне объяснили, что с Островским связано тяжелое воспоминание. В то время, как происходили казни утром, вечером пожалуйте в театр, и непременно идет пьеса Островского. Тогда заправлял репертуаром, покойник ныне, Паша Васильев, один из рьяных проводников обрусительных тенденций. При мне генерал-губернатором Вильны был Потапов [2]).

[1]) Гр. Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), знаменитый усмиритель польского восстания 1863 года, за свои жестокости получил кличку „вешателя“.

[2]) Потапов Александр Львович (1818—1886), генерал, шеф жандармов.

В его правление уж таких строгостей не было. Он и жена его протежировали русскому театру, в бенефис платили за свою ложу хорошие деньги, и польским артистам больше, нежели русским. Но все таки полякам артистам жилось тяжело и мне было особенно жаль: с ними обращались круто свои начальники, а наши товарищи невежливо. Например, Домбровский талантливый, а всякий приезжий русский брал его роли, какие хотел; ему давали дрянь играть; то же делали и с актрисой Суревич. Не знаю, правда ли, но Ожаровский, говорят, ненавидел своих из мести за то, что его отца в 1830 году поляки повесили за шпионство. Он явно теснил поляков, платил им меньше русских, поступая с ними вполне деспотически. При мне случился странный анекдот: Домбровский и я очень удачно сыграли «Буку». Генерал Потапов приходил на сцену благодарить меня и Домбровского. Через неделю читаю в афише: «Бука» по востребованию публики». А публики в театре почти совсем не было. Фокус не удался.

Эту зиму я жила на одной квартире с графиней Анной Павловной Лопацинской, урожденной Щепкиной [1]), и ее малолетним сыном. Графиня была вдова. Ее деверь Вильгельм Лопацинский участвовал в польском восстании в 1864 г., был приговорен к смертной казни и бежал за границу. Имение в Дисненском уезде

[1]) Дочь профессора Московского университета Павла Степановича Щепкина, ныне еще здравствующая. (*Примеч. А. И. Шуберт.*)

Виленской губернии принадлежало ее малолетнему сыну и другому деверю, сумасшедшему Константину, которому все мерещились жандармы. Графиня, как опекунша, управляла имением и уплачивала долги, сделанные повстанцем. Жила она очень скромно, отказывала себе во всем, мечтая очистить в скором времени имение от долгов. Вдруг неожиданно, как снег на голову, является Вильгельм. Амнистией после свадьбы великой княгини Марии Александровны он был возвращен, а следовательно явился хозяином имения. Его возвращению все очень удивлялись, ведь он был один из вожаков, а поляки мне сами говорили: «это наш герой!»

Вильгельм был высокого роста, атлетического сложения, и имел грубые заскорузлые руки. Ничего не было в нем слащаво польского. Он отлично говорил по русски. Мне он откровенно рассказывал про свою жизнь, сколько он перенес в эти 12 лет за границей [1]). Он был и кельнером, и каменщиком, и садовником и показывал мне свои огромные загрубевшие руки. Много он поработал, но, кажется, без пользы. Хотя его и возвратили, но на таких тягостных условиях, что он должен был жить в Вильне, сильно начал пить и умер, как говорят, от пьянства.

Мне не удалось провести еще лето в Вильне. Лопацинская просила меня отвезти ее сына

[1]) Судя по датам, не 12 лет, а меньше, всего лет 7.

в Москву к бабушке Клавдии Николаевне Щепкиной, так как сама должна была ехать в деревню с деверем для устройства дел, а сына боялась взять с собой, чтобы не отравили: ее покойный муж был чиновником удельного ведомства и принял православие.

В Вильне у меня были близкие знакомые из общества артиллеристов, не поклонников и обожателей актрис, а людей серьезных, с которыми приятно было провести время. Они все жили вместе на одной квартире с Козловскими и Варламовым, нередко у них обедали. В театре они тоже бывали вместе в абонированном бенуаре. Самый старший был полковник Свиньин, остальные все молодежь: Дидерихс, Путята, Брещинский, доктор Иванов, Соколов, Мюллер и др. Фамилии многих забыла; во время трех сезонов, которые я играла в Вильне, одни прибывали, другие переводились, а в третий год все разъехались.

Между тем в театре пошли неурядицы, граф Ожаровский оставлял свой пост и ни с кем не заключал контрактов; в последний день масленицы я была свободна и утром выехала в Москву. Из Динабурга прислала в театр телеграмму, адресованную на Олимп богам и богиням (шел «Орфей в аду»), выражала им мой сердечный привет. Так мне было хорошо, так я сдружилась со всеми!

В Москву я вернулась в 1871 г. постом; в то время тут жилось обыкновенно весело. Съезжа-

лись артисты с разных концов России, много было знакомых, вновь знакомилась, и конца не было рассказам. Вообще это общество нравилось мне—много человечного, товарищеского. Конечно, большая часть была людей необузданных, которые были не прочь от сильных выражений, но ведь они истые русские, что уж тут по французски то разговаривать? По моему, еще не выработался русский, сердечно-страстный разговор в приличной форме. Правдивое слово резко. По благородному у нас могут говорить только фразеры или ехидны.

Тут я познакомилась с двумя антрепренерами: П. М. Медведевым [1]) и Никитиным. Последний в это время снял театр в Саратове и пригласил меня на зимний сезон. Медведеву я отрекомендовала Большакова, который и поступил к нему на свою погибель: я еще не знала тогда всех ужасов провинциальной жизни.

Козловский и Варламов предложили мне летом играть в Петербурге, в Лесном, где давались представления в пользу общества распространения грамотности по инициативе Мих. Густ. Вильде. Участвовали любители и артисты за маленькую плату. Это была первая попытка к частным театрам в Петербурге.

Совсем даром я не могла играть, в это время вернулся мой старший сын из за границы, поступил приказчиком к Попову за 125 р. в ме-

[1]) Медведев Петр Михайлович (1837—1906), актер и известный антрепренер.

сяц и взял младшего брата, который был в это время в гимназии; я же должна была выплачивать добрейшему Эмилию Романовичу Циммерман долги по содержанию старшего за границей.

Мне предложили 10 р. за представление. Я согласилась, тем более, что летом была свободна, имела пенсию и гардероб. Чтобы подешевле устроиться, я сговорилась с Варламовым жить у них на хлебах. Они нанимали дачу на Черной речке, недалеко от Лесного. После святой я отправилась в Петербург. На железной дороге меня встретил Никитин, который выехал в Петербург раньше меня, и генерал Марков, которому сказали, что я должна приехать. В Вильне дирекция переменилась, в состав ее вошел Марков, который и приехал приглашать на зиму в Вильну. Хотя я Вильну и любила, но с генералом Марковым не предвидела ничего хорошего. Это старый литератор, поклонник трагедии и декламации. Стихи, надо отдать справедливость, читал превосходно, я всегда к нему ходила учиться. Но он сам все еще литераторствовал, писал нелепые комедии в стихах и рекомендовал ставить их на сцену. Ну, а уж директорам—своя рука владыка. Он считал себя знатоком театрального дела, а тут и власть была дана. Я отблагодарила его за память и отговорилась заключенным условием с Никитиным.

Переехали на Черную речку. Мне отвели комнату рядом с кабинетом уединения, запах не-

стерпимый, но терпеть надо было. С участвовавшими я сошлась по душе; меня полюбили и обращались за советами, и по моей моложавости прозвали бабушкой. Из выдающихся лиц был Николай Петрович Киреев [1]), тогда еще военный; он принимал горячее участие в составлении труппы частного театра. Каменский, Штакеншнейдер, многих фамилии я забыла. Из своих были две сестры Козловские, Варламов и некоторые из императорских театров. На репетиции собирались аккуратно, после спектакля вместе ужинали, это тоже был один из театральных расходов. Посторонние не допускались. Тут составлялся репертуар, говорилось об исполнении откровенно. Хорошее было время и много было надежд!

Сборы были отличные, но расходы тоже были большие. Платить за все приходилось больше и больше, особенно, если нужно было брать что нибудь из императорского театра, там драли, что хотели. На нас императорские смотрели с презрением, а мы им хотели доказать, что в частных театрах могут не хуже их играть, если не лучше. Не знаю, зачем ездили несколько раз играть в Ораниенбаум, разве прокатиться, а денег собрать было невозможно, всем за все плати. А уж ломка—упаси бог, какая! Например, поздно кончив спектакль в Лесном, на другой день рано утром мы едем в каретах че-

[1]) Киреев Н. П. (1843—1882), актер и драматург.

рез весь Петербург на Варшавский вокзал. В Ораниенбаум приезжаем к обеду. Только пообедаем, одеваться играть. Стараемся кончить к поезду. Приезжаем в Петербург и уже на рассвете в Лесной. Зачем это делалось,—не знаю; в денежные дела я тогда не вмешивалась, а исполняла все, что нужно для товарищества.

Опишу ораниенбаумский театр. Кому принадлежит здание, я не знаю. Театр и сцена выстроены превосходно, зрительный зал—изящный, и все здание, как игрушечка. Но за то декораций, мебели—никаких... Мебель брали из буфета, а за декорации из императорского театра (больше негде достать) не имели средств платить. Была какая то горестная комната и полинялый сад. Боковые двери отворялись прямо на деревянные лестницы, на которых прикрепляются декорации и мужики лазят зажигать лампы. Уборные были внизу, без окон, а свечи вставлялись в бутылки. Рядом с роскошным театром нищенство! Сборы были, пресса поддерживала, но дирекция с своей стороны ставила нам всевозможные препятствия.

Мне предложили взять один спектакль в Ораниенбауме в мою пользу. Я попробовала, и мне за расходами не только ничего не очистилось, но еще Козловские и Варламов, отказавшиеся от платы, избавили меня тем от долга. Несмотря на все это, еще поддерживалась чем то надежда основать частный театр, на будущий год кто то предложил взять новый, только что выстроенный театр в Беклешовке. Этим делом взялся

орудовать Киреев и пригласил меня. Из Саратова, после зимнего сезона, я обещала приехать.

Полюбопытствовала я посмотреть в Петербурге прославленную Belle Hélène с Лядовой [1]). С непривычки я была оскорблена этим представлением, как женщина и как актриса. Я еще не замечала нового веяния времени, в первый раз я видела Belle Hélène в Вильне. Очень весело, хорошенькая музыка—вот какое я вынесла впечатление. Но тут я ужаснулась, какой тон был дан пьесе, какие телодвижения. Я сидела в креслах, кругом меня были мужчины,—хорошо, что посторонние. Они как то ржали от восторга, и, я уверена, что ни один домой не поехал.

Приехала в Москву на короткое время, взяла дочь и отправилась в Саратов через Нижний, оттуда на пароходе. Со мной одновременно ехала Фанни Козловская с двумя детьми и с нянькой. Я сердечно полюбила это милое беспримерное существо. Фанни была на последнем месяце беременности. Я боялась, чтобы дорогой чего не случилось, запаслась ножницами и шелковым шнурком, расспросила, как надо поступать, и готовилась в бабушки-повитушки. Дорога прошла благополучно. Ребятишки вели себя хорошо.

Приехали мы в Саратов утром, остановились на Царицынской улице, в доме, заранее уже нанятом антрепренером Никитиным. Город мне показался мертвым (железной дороги тогда не

[1]) Лядова Анна Александровна (ум. в 1871 г.), танцовщица и опереточная актриса.

было), улицы по большей части не мощеные; поглядишь в окно—ни души.

Дом наш был большой, просторный. Нам отвели по комнате, за которую мы должны были платить, как и за стол; мебели не было вовсе; мы должны были взять на прокат. Первое время мы спали и сидели на полу. У самого хозяина только в столовой был огромный стол и стулья, да устроена его спальня и тут же кабинет.

Собирались на репетицию пока дома, народу много, накурят, дышать нечем было, а во всем доме не было ни одной форточки. Никитин призвал хозяйку (она была раскольница) и просил ее сделать форточки. Оказалось, нельзя, почему нельзя: антихрист влетит,—это буквально ее слова. Никитин возразил, что так оставлять невозможно, столько народу в дыму, вред для здоровья.

— А ты их корми больше, и будут здоровы.

Переговоры, однако, кончились тем, что она согласилась над окнами в капитальной стене прорубить отверстия в роде печурок с железными дверками изнутри комнат; снаружи же испортили вид дома, понаделав дыры над окнами. Хозяйка была женщина молодая, красивая и, кажется, справляла роль богородицы на своих службах. Я как то захворала. Она пришла навестить меня, но мне не удалось ничего узнать об их службе. Между прочим, она рассказывала о недавнем пребывании в Саратове государя наследника Александра Александровича, как их при-

нимали, как дворянство вместе с купцами давали бал. Я спросила, как же она была одета, такая молодая, красивая, неужели в платочке на голове? «Все мы, молодые, надели шиньоны, были с открытой шеей в бриллиантах, только бабушки в платочках». После я слышала, что в это время театр держал Медведев, и с грустью передаю, как он покривил душой. Назначены были две пьесы: «Ночное», где так восхитительна Линовская, создавшая роль Груши, и «Вечер с итальянцами», глупенькая оперетка. Высокие гости до бала могли видеть только одну пьесу, и Медведев их угостил «итальянцами», где сам участвовал. Говорят, после пьесы Линовская набросилась на него: «Кого показал! Русскому наследнику кого показал! бессовестный!» Медведеву неловко было.

Начали мы помаленьку устраиваться в новом помещении. Поселилось нас несколько семейств в этом доме: Никитин, брат и сестра Козловские, Рыбаковы [1]), несколько холостых актеров, занимавшие по комнате в том же коридоре. К обеду мы должны были все собираться в столовой и ждать большого выхода сатаны. Отворялась дверь кабинета, и сам выходил, раскланиваясь на все стороны. Это был уже не прежний милый и любезный Паша Никитин, а сама власть и сила,—все уже забрались у него деньгами вперед, кто за прокат мебели, кто

[1]) Рыбаков Николай Хрисанфович (1811—1876), знаменитый актер, играл по большей части в провинции.

деньгами взяли, а мы, дамы, раскупили гардероб его покойной жены. Тон его сразу стал деспотичным. На старика Рыбакова он положительно кричал, Фанни Козловской при всех сделал выговор, чтоб она приличнее одевалась к столу; мне заметил, чтобы я не вмешивалась в театральные дела, он сам все знает. Это говорил человек, стоявший передо мной на коленях и целовавший мои руки в Москве! Сразу мы все почувствовали ярмо и прозвали его Пугачевым.

Первым отделался Рыбаков, которого я тут только узнала. Прежде слышала, что это пьяница и постоянно употребляет нецензурные слова. И вдруг вижу смирнейшего, трезвого, деликатного человека. И жена его—милая деликатная женщина. Они остались в том же доме, но завели свою кухню. Козловские переехали на другую квартиру: им с детьми неудобно было обедать не по своему времени, и детей надо было кормить отдельно.

Я осталась, да мне и двинуться было нельзя по денежным моим обстоятельствам. В Саратове у меня уже были знакомые—семья Николая Павловича Щепкина, который служил председателем казенной палаты. Мое положение у Никитина стало полегче, когда он увидел, что я хорошо знакома со Щепкиным, и жена его меня посещала. Как провинциальная братия ни распущена, а перед высшими мира стараются показать себя интеллигентными.

Никитин был талантливый, хороший чтец и брался за всевозможные хорошие роли. Фанни Козловская по своему положению вначале совсем не играла. На первые драматические и трагические роли была А. И. Стрелкова. Еще была приглашена на молоденьких ingénue Кузьмина, но она еще не приехала. Комической старухи совсем не было, стало быть мне приходилось занять это благородное амплуа, но судьба судила иначе. Так как Кузьмина почему то запоздала, а Фанни болела, то мне пришлось начать с молоденьких. На открытии в «Горе от ума»—куда ни шло,—я играла свою старую роль Лизы. На следующее представление «Харьковский жених»—Любочку. У меня тут есть фраза: «Я, братец, уж, не ребенок и кое что уж понимать начинаю» (это на 43-м то году)! Вся роль наивная. Меня в жар бросало от стыда. Француженка не сконфузилась бы. Но вскоре приехала Кузьмина, и я перешла на старух.

Между тем дело шло беспорядочным образом. Хозяин пил. Каждый вечер на ужин все должны были собираться и сидели до утра. Вина выпивалось страшное количество, и хозяин весь вечер занимал гостей разговорами про себя и свои провинциальные похождения. Был в труппе молодой, начинающий актерик, Кузьмин из Твери. Он любил сидеть дома в свободное время и читать. Он жаловался мне, что не хотел бы присутствовать на этих оргиях, но получил строгий выговор за свое отсутствие.

Репетиции не всегда бывали, потому что антрепренер проспит; накануне бывало не знаем, что завтра играть будем. Сам он ничего нового не учил, все ставил для себя пьесы из старого репертуара. Сборы были плохие. Но местные жители говорили, что пока Волга не застынет, сборов не бывает, а с ноября уже появится настоящая публика.

Стрелкова внезапно поднялась и уехала вместе с зятем своим Талановым. Драмы стали. Фанни, как ни мила, как ни изящна была, но особого впечатления не произвела. Все жило и существовало для одного Пугача.

31-го октября был мой бенефис, сбору было только 500 руб. Играли «Смерть Ляпунова». Сама я играла водевиль «Путаницу», глухую бабушку. Однако хорошо, что расплатилась с антрепренером и легче стало: видела возможность сбежать, если будет невтерпеж.

Пугач выписал Милославского [1]), тот приехал с Ворониной—тоже туз. Сам один играет с Ворониной и, когда его вызывают, выводит ее. Хотя Милославский и поднял сборы, но с Никитиным не поладил, и они разошлись в той же квартире, но по разным комнатам. Я была на стороне Милославского, и нам подавали обед и ужин отдельно. Милославский замечательный умница и джентльмен. По крайней мере, я лично ничего не могу сказать дурного, хотя

[1]) Милославский Николай Карлович (1811—1882), известный актер.

легенд про него пропасть ходит в закулисном мире.

Помню, в какой то большой народный праздник играли «Пробный камень». Был совершенно полный театр. В 1-м акте я была занята и сама себя не слыхала от шума в зале: откупоривались бутылки с кислыми щами, щелкали орехи, говор, хохот.

По окончании акта я и говорю Милославскому:

— Что же это будет?

— Я их успокою.

Второй акт начинал он. Тот же шум, гвалт. Он вышел на сцену, встал, сложил руки по наполеоновски и ни слова. Шумели, шумели, потом стали тише и с любопытством замолкли: что будет дальше? Тогда Милославский говорит:

— Ну, вы кончили? Теперь я начну.

Послышался только легкий смех и он продолжал свою роль.

Вот еще случай с ним. Был у нас jeune premier Аркадьев (Лангомер) из петербургской театральной школы. Актер неважный, но человек почему то дурной. Его все бранили и говорили, что быть ему с бубновым тузом на спине. Он давал в свой бенефис «Разбойников» Шиллера. Милославский должен был играть старика отца. Не хотелось ли ему играть, или на зло, но он роли не выучил, и вместо настоящего монолога по пьесе, говорил из Велизария:

Обрушься на меня ты, вековое зданье,
Пол мраморный, обрушься подо мной...

Потом, говорят, за кулисами поколотил Лангомера. Чуть ли это был не последний его спектакль: он уехал в Казань к Медведеву.

Житье в Саратове становилось невмоготу, хотя от Никитина я уж давно съехала в гостиницу. К счастью моему собиралась в Москву знакомая купчиха Жегина с дочерью. Я сговорилась с ней выехать в один день. Никитин этого не ожидал.

Последний спектакль мой был «Грех да беда», играла Жмигулину. Я так была расстроена, что не могла играть, а только читала роль. Сам Никитин—Краснов играл пьяный. Занавес поднялся в девять часов, вместо 7-ми, не могли его добудиться. Я кончаю раньше его. Возвратясь домой, я тотчас же и уехала. Рыбаков и Фанни приходили упрашивать, чтобы я осталась: за что же им одним терпеть? Но я уже купила кибитку, все уложила и боялась упустить случай, чтобы не одной ехать, да и денег не было: спасибо, Жегина дала взаймы. Зимы настоящей не было, а только морозы, дорога ужасная. На второй или третьей станции оглобля пополам, и Жегина пересадила меня с дочерью в свой возок, а для вещей и няньки я наняла крестьянские сани. Так ехали до Борисоглебска, а оттуда по железной дороге в Москву.

Прожила зиму в Москве на пенсию и убедилась, что нужно быть терпеливее к житейским невзгодам: второй сезон не кончаю, а жить трудно. Постом выехали в Петербург, куда на

лето получила приглашение от Киреева, и до дачи поселилась у К. А. Сабуровой, играя пока в Художественном клубе и в Кронштадте за маленькую плату. Этим летом мы играли в Беклешовке и дела у нас пошли уж хуже. Мы играли легкие драмы, водевили и комедии, а в Лесном Раппопорт давал оперетки и очень этим нам вредил: вся публика, конечно, стремилась в оперетку.

На зиму снова отправилась в Вильну по приглашению Цейдлера и Зелингера. Театр был сдан антрепренерам, хотя и с субсидией; такого порядка, как при Ожаровском, уже не было, труппа—весьма слабая. Из прежних один Варламов. Он очень обыгрался, выказал большой драматический талант и был любимцем публики. Я рекомендовала его к Медведеву в Казань, с этого началась наша переписка. Варламов не сошелся в условиях и поехал в Нижний, а меня Медведев пригласил на лето в Саратов, в летний театр Сервье. В это время как раз открылась железная дорога. Город оживился до неузнаваемости. Явились интеллигенты: инженеры, железнодорожники. Мне приходилось жить почти за городом, около сада, и так как еще до города не было вымощено, то мы вязли в грязи. Жить же в городе или ездить на извозчиках на репетиции было дорого. По контракту мы должны были съехаться к половине апреля, а ресторан открывался только 1-го мая, а потому питаться приходилось часто колбасой и яйцами, пить воду с Волги, которая весной грязная, как кисель,

До проведения железной дороги Саратов был мужицким городом: преобладали торговцы, которые кулисами не интересовались. Теперь явились любители, ходившие за кулисы, вмешивавшиеся в дела актрис. Выгонять их не находили нужным, потому что они все люди богатые. Это было для меня ново и весьма некрасиво. Преобладал преимущественно опереточной репертуар.

Осенью отправились в Казань.

Медведев—честнейший антрепренер и милый человек, добрый товарищ, по амплуа—первый комик. Труппа была большая и даровитая. Хоры мужской и женский прекрасные. К концу Нижегородской ярмарки Медведев съездил в Нижний и ангажировал на драматических героев Савина, который в 1868 году был в Вильне, и его жену, молоденькую водевильную актрису. Эта молоденькая водевильная актриса была будущая звезда и воротила петербургского театра, М. Г. Савина [1]). Тогда ее звали Мария Николаевна: мужу не нравилось Гавриловна. Ей в то время было лет 17, много 18. Хорошенькая, кроткая, смирная, она была в полном повиновении у мужа. Они служили зиму в Калуге. Летом муж уехал играть в Нижний и поискать место куда нибудь в провинцию, а она к концу ярмарки на перекладной, в интересном положении, приехала к мужу, играла маленькие воде-

[1]) Савина Мария Гавриловна (1851—1915), знаменитая артистка.

вили, где случайно ее и увидал Медведев. Она с мужем получила уже приглашение в Саратов: он на драматические роли за 60 руб. в месяц, а она на 10 руб., как хористка. Медведев дал им хорошее содержание, и они приехали в Казань. Савин, как старый знакомый, просил принять участие в его жене. Я ее полюбила. Они были очень бедны. Раз она пришла ко мне, чтобы вместе искать для них квартиру (в гостинице жить дорого) да купить что нужно для будущего прибавления семейства. Сели позавтракать. Вдруг ей сделалось нехорошо. Я послала за акушеркой,—так она и осталась на моей квартире. Бедняжка выкинула семимесячного ребенка. К счастью, здоровье у ней крепкое; она скоро поправилась и вышла в 1-й раз в комедиях «Марианна» и «Бедовая бабушка». Успех полный! Такой наивности я нигде не видывала, она напомнила мне мою молодость...

На драму была приглашена провинциальная известность Степанова, артистка недурная, но холодная. Ее холодно принимали и это ей не нравилось. Успехов она вынести не могла и в один прекрасный день сбежала совершенно неожиданно, неизвестно куда. По ее исчезновении, на Савину взвалили весь репертуар: Стрепетова, приглашенная к нам на зиму, еще не играла по болезни. Как только Савина заручилась успехом, она сделалась неузнаваема, не по своей вине—она была слишком юна, но супруг ее поднял нос. Я ее любила, как своего

ребенка, подавала советы; но муж ее через антрепренера прислал сказать, чтобы я не сбивала ее с толку своими замечаниями, он сам может учить ее. С ним у меня были еще стычки за неучение ролей и нежелание репетировать. Он всегда читал себе под нос, и когда бывало просишь сладить или повторить сцену, он говорил, что это неделикатно: пора домой обедать. Обжора он был ужасный. Она была его покорная слуга, должна была заботиться кроме театра о хозяйстве, даже снимать с него сапоги, а он жил совсем барином. На роли простаков был еще начинающий, очень юный Давыдов[1]), который скоро сделался любимцем публики. Они с Савиной в оперетке были такие миленькие, точно куколки саксонского фарфора.

21-го января 1872 г. наконец выступила Стрепетова в «Семейных расчетах». Невысокого роста, неуклюжая, но прекрасные глаза и голос... голос дивный, подкупающий, бездна чувства. Она произвела впечатление. Савина должна была уступить ей драматические роли и с этих пор пошла у них взаимная ненависть. Но, несмотря на это, театр шел великолепно, стройно, дружно. Казань был для меня второй провинциальный город: Одесса, Вильна—города цивилизованные; мы служили у дирекции. Был порядок, заискивать, ухаживать за богатыми людьми было не принято, да и труппа была не бедная:

[1]) Вероятно, Давыдов (Горелов) Владимир Николаевич (1849—1925), известный впоследствии артист.

платили хорошо, верно. В Казани вышло иначе. Некоторые актрисы (Борисова и Тулубина) отлично говорили по французски; франтам это нравилось. Они устраивали пикники, танцы. Со своими семействами, конечно, не знакомили. Савин перед бенефисом жены делает завтрак, а денег не было.

Я говорю: зачем?

— Нельзя, надо, чтобы ей поднесли в бенефис что нибудь.

— Глупо!

Тогда еще не было мании подношений. Точно, поднесли браслетик в 75 р., а Борисовой—корзину, окутанную материей, точно детскую люльку.

Один барин М. И. вздумал дать вечер в первом ресторане. Лично приглашает меня. Я поблагодарила, сказала, что буду, с тем, конечно, чтобы не быть: я не выезжала никуда, была не молода, меня это не занимало. За несколько дней до вечера он встречается со мной и просит, чтобы я оделась, как была в «Светских ширмах», в белом бальном платье.

Я говорю, что не все ли равно в чем я буду?

— Нет, не все равно.

— Ну, так я совсем не приеду.

— Пожалеете.

Когда я в труппе сказала, что не поеду и считаю за дерзость, что мне предписывали, как одеться, все стали меня уговаривать, говорили, что я рискую бенефисом: барин—сила и повре-

дит мне. Припоминаю, что жена Медведева, невысокая толстушка, тоже поневоле поехала на этот вечер в зеленом бархатном платье с пунцовыми розами на голове. Пришел день моего бенефиса. Все первые ряды, бель-этаж и бенуар были пусты; только верхние ложи, кресла задних рядов и верхи были полны. Мне говорили: «что, нарвалась?..» Как это делается? — не понимаю.

Меня любила именно интеллигенция. Я играла старух, но все таки приходилось нести и молодой репертуар. Я отличалась хорошим чтением стихов. В то время была мода на чтение тенденциозных стихов и за них меня называли «наша мелодия». Факт с М. И. я описала, чтобы показать, каково положение провинциальных актрис, да еще молодых; как они должны продавать свою душу чорту. Мне с полгоря, мои 63 р. 50 к. в месяц лежали в Московском казначействе; я считала себя богатой, а другие...

Истинные мученики и борцы провинциальные актеры!!! Был актер Калиновский, в мире Мясков—барин жулик, что то украл. Говорили мне, что в защитительной газетной статье было сказано в его оправдание, что: «немудрено свихнуться в провинциальной театральной среде». Да отсохнет язык у того, кто это сказал! Мученики, труженики провинциальные актеры, а под старость угла нет, а нынче (в 1890 г.) и хлеба нет.

Губернатором в Казани был Н. Я. Скарятин, большой любитель театра. В чем они не пола-

дили с Медведевым,—не знаю, но на следующий сезон театр был сдан другому. Нас всех пригласили остаться, но мы так полюбили Медведева, что отказались и собрались с ним в Орел.

В Орел нас собралась вполне сыгравшаяся труппа. Публика в Орле образованная. Тон давали окружные помещики; открылся окружный суд, люди тоже все интеллигентные. Дела шли блестяще. В закулисном мире очень не поладила Стрепетова с Савиной, но публика больше была на стороне Стрепетовой, как серьезной драматической актрисы. Супруги Савины решили уехать, не кончив сезона. Я не входила в эти дрязги, видела, что все это дело рук мужа Савиной, а с ним я не разговаривала, да и все его не любили. Они уехали в Саратов, и я Марусю потеряла из виду до тех пор, пока она заблистала в Петербурге.

Помню, Стрепетова играла Марию Стюарт. Первый акт и сцена свидания двух королев прошли бесследно: неказистая фигурка, плохое чтение стихов. Но в последнем акте сцены исповеди и прощания произвели фурор. В первый раз я была свидетельницей такого единодушного взрыва восторга в публике. По окончании вызовов, тотчас была сделана подписка и на другой день Стрепетовой прислали браслет и несколько пятипроцентных билетов. Она жила бедно, содержала семью в Нижнем Новгороде и не была еще так заносчива, как в Петербурге.

Я играла очень много. Так как амплуа специального не имела, то приходилось играть и старых, и молодых, и драматические роли. В первое представление на орловской сцене я играла молодую в водевиле «Покойник муж и его вдова». В зрительной зале был кто то, кто видел меня в 1863 г. в роли старухи, и сказал:

— Удивительно, как Шуберт похожа на Куликову, только эта молодая, а та играла старух.

И очень был удивлен, когда ему сказали, что это—одно и то же лицо.

Кроме своей труппы, приезжали к нам на гастроли Никитин и Милославский. Сезон окончился блестяще.

Летом я решилась отдохнуть, не играть и выбрала своей резиденцией Вильну: окрестности ее очаровательны, воздух отличный и жизнь дешевая. Уехала я туда и наняла за городом, на Погулянке, квартиру в семействе со столом.

Виленский театр был сдан М. П. Огареву. Он был в это время под наказанием за растрату опекунских денег, бывши дворянским предводителем во Владимире. Его друзья устроили для него это место, как ревнителю обрусения в западном крае. Он пригласил меня на этот сезон (1874 г.). Был он горе-антрепренер. Кроме Мельниковой, труппа была плохая, деньги задерживал. Я жаловалась на него Потапову, и по его приказанию он должен был расплачиваться. А все таки его антрепренерство ему зачли в заслугу и он был прощен: получил

опять дворянство, которого был лишен и вследствие этого считался кронштадтским мещанином.

Раза два зимой приезжала его жена, актриса Читау, и дала два полных сбора.

Лето 1874 - 5 годов я прожила в Пушкине на даче со старушкой К. Н. Щепкиной и ее внуком, графом Лопацинским, о котором я упоминала выше. Зимой получила приглашение в артистический кружок.

Около этого времени начали понемногу нарождаться частные театры. Лучший из них — Секретаревский. Играли там безукоризненно хорошо, отчетливо, было много талантливых людей.

И все это делалось даром, из любви к искусству. В артистическом кружке играли маленькие пьесы. Труппа была небольшая; лучшими были Садовский и его жена.

Чем ближе подхожу к последним годам, тем более память изменяет мне. Ничто мне не напоминает этот сезон, и между тем в моей записной книжке по окончании его написано:

«Конец глупейшего театрального сезона в доме Бронникова,—нельзя сказать: в Артистическом Кружке. Глупейшие старшины, необразованная публика! Срам! позор! пошлость! и генеральный провал!» Подробностей не помню. Управляли старшины и что то глупили. Следующий сезон 1875-6 гг. Кружок взял Вильде. Тут были приглашены: Стрепетова и Ильинская, Писарев,

Путята, Садовские [1]). Труппа повысилась. Островский и Писемский постоянно посещали кружок и принимали участие.

Весною мы в компании поехали в Тамбов играть на марках. Для меня это была новость. А дело хорошее. Так бы и следовало артистам работать для себя, без всяких гастролей: тут все первые и все вторые. Каждый для общего дела работает, и публике приятнее смотреть хороший ансамбль.

[1]) Ильинская — вероятно, Марья Васильевна. — Писарев Модест Иванович (1841—1905), известный актер.—Вероятно Садовский, Михаил Провович (1847—1910).

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Возвращение в 1882 г. на сцену Александринского театра.

Нежданно-негаданно я снова поступила на казенную сцену, на 56-м году возраста. Вот как это случилось. Летом 1882 г. дочь моя уехала на урок в деревню, а я осталась жариться в Москве: для себя одной дачи нанимать не стоило. Лето было прежаркое, беспрестанные пожары, приходилось выбираться и страшно было отлучаться из дому. Изредка я навещала знакомых на даче.

22-го июля собралась в Мазилово к Медведевой погостить. Приезжаю, а она меня встречает такими словами:

— Ночевать вам нельзя: вчера был Потехин, ему очень нужно вас видеть. Завтра он уезжает в Петербург и просит вас к себе в Лоскутную гостиницу.

Я думала, что по старому знакомству он хочет посоветоваться со мной об ангажементе каких нибудь провинциальных артистов.

Вернувшись поздно вечером домой, я нашла письмо от Потехина с просьбой завтра повидаться. На другой день отправляюсь и по первому абцугу: «пожалуйте опять на сцену!»

Я, как старая боевая лошадь, услыхала трубу и задрожала. Начала было ссылаться на нездоровье: говорила, что если и слажу со сценой, то гардероб истомит меня. Однако, условились за 200 руб. в месяц на казенном гардеробе. В случае несостоятельности здоровья—быть учительницей в театральной школе.

Я была в восторге от мысли, что снова буду делать дело: бездеятельность совсем истомила меня. Я знала, что на казенной сцене еще могу действовать, потому что роли даются заранее, репетиций много. Словом, на небольшие роли я могу быть полезной.

Рассудила умно, а поступила глупо.

Для дебюта взяла «Виноватую», т. е. роль генеральши, и не осилила по такому большому театру, как Александринский. Играя на маленьких провинциальных сценах, я могла сойти за grande-dame, но здесь оказалась trés petite. Да, кроме того, внешняя обстановка задавила меня. В прежнее недавнее время носили широкие юбки со шлейфом, что придавало фигуре некоторую представительность. А теперь на меня напялили узенькое платье, со спеленутым животом, да к тому же еще модная мебель низенькая,—так я вполне и провалилась. Но ошибка в фальшь не ставится. Я не потерялась и с удовольствием взялась за вторые роли, которые здесь положительно играть не умеют, да и не желают.

Вот все, что мне пришлось сказать о себе лично. А теперь поведем рассказ обо всем окружающем.

Почти четверть века прошло с тех пор, как я оставила петербургскую сцену: с 1860-х годов по 1882-й.

Я говорила в моих записках, что московский театр был выше петербургского; артисты московские всегда были образованные, т. е. не по учению, а по самообразованию. До бытовых пьес еще они могли соперничать, а с появлением Островского, Потехина, вообще коренных русских ролей, петербуржцы должны были уступить московским.

В промежуток 1860 - 80 гг., когда мне случалось проездом бывать в театре, я видела немцев, чисто говорящих по русски. Покойный Писемский характеризовал их так: «Это ученые собачки, ходят на задних лапках и поглядывают за кулисы, где хозяин с плеткой стоит!»

В мое время, т. е. в 50-х годах, литература начинала сходиться с артистами. Собирались у Мартынова, у меня. Бурдин, как умный человек, прильнул к литературному кружку и, проводя на сцене оригинальные пьесы, был как бы посредником между писателями и необразованным начальством. В начале 60-х годов сломился Мартынов, за ним ушел Максимов, кто вышел замуж, кто устарел и безучастно относился к общему делу. Осталась одна Линская и шла сама по себе. Театр падал, царила оперетка. Я не могла следить за всеми переменами в театре, ибо находилась в провинции.

Что же я нашла теперь, через 23 года?

. Полное невежество, непонимание русской жизни и честного отношения к делу. Ни одна душа ничего не читает, ничем не интересуется и только носится со своим «я». Новые реформы, благодетельные для артистов, добрейший человек Потехин, прямо заявивший, что он не начальник, просит считать его товарищем и помогать ему в новом для него деле... все это не понято, обругано, оплевано, так что молишь судьбу: господи! дай настоящего начальника в мундире с плетью: не доросли мы, чтобы без палки служить! Эту фразу Михаил Семенович Щепкин твердил еще 30 лет тому назад...[1])

[1]) (На этом рукопись А. И. Шуберт прерывается). (*Примечание 1-м издании*).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ